

Валентин
Воробьев
Графоман

ВАЛЕНТИН ВОРОБЬЕВ

Графоман



Новое
Литературное
Обозрение

МОСКВА 2008

УДК 94(47+57)"196/199"
ББК 63.3(2)6-7
В 75

*В оформлении обложки
использована работа В. Воробьева «Звезда», 1974*

Воробьев В
В 75 **Графоман**: *Воспоминания*. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 256 с., ил.

Через три года после выхода скандальной автобиографии «Враг народа», легендарный парижский художник Валентин Воробьев вновь взялся за перо. Полвека жизни в неофициальном искусстве, интриги и тайны московской интеллигенции, переписка с брянской родней и героями «второго авангарда», яркие и точные портреты современников. Письмо экспрессиониста Воробьева близко к его ранней художественной технике: небольшие мазки он наносит так, что картина кажется витражом из бесчисленных осколков цветного стекла. Так не писали со времен орнаменталистов, такой мемуаристики не было после Катаева и Берберовой.

УДК 94(47+57)"196/199"
ББК 63.3(2)6-7

ISBN 978-5-86793-592-4

Часть первая

БРЯНСКИЕ САМОСТИЙНИКИ

Нам надо соединиться со всеми ворами русской земли.

Михаил Бакунин, XIX век

Пути Господа неисповедимы и часто выбирают дураков для своего дела.

В.Я. Ситников, XX век

1. Рисунки с натуры

По совету учителей (Вощинский, Фаворский, Геллер) я постоянно рисовал с натуры — тренировка рук и глаз. Срисовывал все, что попадалось на глаза: деревья, облака, вещи, строения, лица, толпу. Быстрые карандашные наброски в карманный альбом. Штрихом и пятном простого карандаша схватить характер модели. Альбомчики не хранил, и они пропали. Рабочий, подготовительный материал начинающих художников ничего не значит, его легко и бездумно выбрасывал Леонардо да Винчи. Ученик искусства о выставках и славе думает.

Хромой Костик Жмуркин сидел на крыльце «тети» Тоси Лужецкой. В то лето нашего знакомства (1956) этот соседский дом стал частью моего артистического интереса. Рисуя огромный тополь у крыльца, карандаш прыгал к человеческой фигуре, смирно сидевшей на лавке. Несколько штрихов: кепка, усы «под Чаплина», пиджак, костыль — и Жмуркин похож.

Нас свело рисование. Я рисовал его много раз, в разных ракурсах и поворотах, на фоне крыльца и ворот. В перерыве я читал вранье под заглавием «Сильные духом» какого-то Дмитрия Медведева, шпиона Второй мировой войны.

— Что читаем? — спросил раз Костик. Я молча повернул облезлую обложку «Госполитиздата». Он искоса взглянул на имя автора и прибавил:

— Надо же, Митяй стал писателем!

Кто как, но я в свои семнадцать лет, пышно выражаясь, думал о плотской любви и рисовании, и что общего между орденоносным автором популярной книжки и хромым инвалидом на крыльце, я и не пробовал объяснить.

— Ну как же, мы с Митяем сидели за одной партой, играли в лапту, влюблялись.

Это признание Костика летело мимо ушей, как пух с тополя. Мать всегда повторяла, глядя на Костика: «Вот гусь, расселся!»

Герои живут далеко.

Олимп, Парнас, Мамаев Курган, Португалия, Америка, Норвегия — какой герой может быть на брянском крыльце?..

Тогда мне и в голову не приходило, что на крыльце «тети» Тоси сидит самый настоящий герой нашего времени, не хуже Робин Гуда. Тогда было трудно совместить потертую кепку Жмуркина с перьями Фенимора Купера или латами британского разбойника. Тут мне не хватало знаний и воображения.

Потом на Болоте шептались, что Жмуркин не раз сидел в тюрьме и запрятал большие деньги, хватит до гробовой доски.

— Эй, Валик, зайди, порисуем, — не раз я слышал с крыльца. Мне не надо было повторять приглашение. Жмуркин знал обо мне всю подноготную. Знал, что я внук Василия Егорыча Абрамова, основателя Болота, что я учусь в Ельце на художника, что мой старший брат сидел в тюрьме за воровство, что моя мать портниха. Я о нем — ничего.

Текель, меле, вахитим!..

* * *

Константин, «Костик» Жмуркин — старинная брянская фамилия часовщиков с Карпиловки. Не знаю, сколько их всех, но мне известна «тетя» Тося, урожденная Жмуркина, ее сын Коля Лужецкий, мой школьный приятель и ныне лесничий на Камчатке, и сам Костик. Этот засветился, как яркая комета в темном небе.

В начале XX века магазины и лавки брянских ремесленников группировались на Московской улице, самой длинной и торговой в городе. Улица выползала из слободы Карачиж с крутой горы, пересекала квартал еврейской бедноты – кирпичные развалюхи с глубокими подвалами, курятники, грязь, теснота и чахотка. Богатые евреи в Брянске не засиживались, они перебирались в большие города, где жизнь была чище и красивее.

В ранней юности Костик и братья Медведевы, Савелий и Митяй, изучали грамоту по книжке князя П.А. Кропоткина «Хлеб и Воля». В их кружок «сознательных рабочих» заезжали известные агитаторы мировой революции Николай Рогдаев, Тихон Нудельман, Борис Волин. Теоретиков хватало, а юный Костик мечтал о деле. Слоняясь по митингам всевозможных политических кружков, он наткнулся на дочку сапожника Сарру Каплун, предложившую ему настоящее, революционное дело.

Адепты первобытного коммунизма натыкались на яростное сопротивление обладателей «земных благ» и часто применяли огнестрельное оружие.

Дата: 1919 – год очень суровый, ничего поэтического. Вокруг Брянска кровавые псы Антанты, а внутри — общественный разброд, военные поборы, нож под ребро и пуля в затылок.

С мешком взрывчатки Костик выбрался в Москву и на квартире товарища Льва Черного (П.Д. Турчанинов – «сухой старичок с давно нечесаной головой») – встретил героев подпольной войны — Казимира Ковалевича, Петра

Соболева, Алексея Барановского и «товарищей с Украины» — Якова Глазгона и Хилю Цинципера.

Тогда же, в августе 19-го, на квартире организатора бесконечной мировой революции Льва Черного был принят план взрыва Кремля с засевшими там узурпаторами свободы.

Костик и Митяй очарованы и увлечены большими людьми революционной борьбы. «У нас у всех в крови болезненная тяга к борьбе».

Костик — находка для дела: плюгавый, усики под носом, ну вылитый Чарли Чаплин; но кое-где постреливали.

Дмитровский философ Петр Алексеевич Кропоткин аккуратно получал от товарищей по борьбе бумагу, чернила, дрова и хлеб. Жил на ворованные деньги. Подсудный князь.

Ваше сиятельство, в Сибирь шагом марш!..

В сентябре чекист Адам Домбровский, купленный бандой, донес, что 25 числа в особняке графини Уваровой в Леонтьевском переулке собирается весь «советский актив» с Лениным во главе. Обсуждалась большевистская эвакуация в Сибирь в случае сдачи Москвы Белой Армии, наползавшей со всех сторон на логово большевиков. Вечером 25 сентября боевики Петр Соболев и Алексей Барановский вошли во двор особняка с «адскими машинами» в руках, и в ярко освещенные окна собрания влетели две полуторапудовые бомбы. Раздался оглушительный взрыв, из ста пятидесяти большевиков двенадцать сразу были убиты и ранено пятьдесят пять человек. Среди убитых оказался палач Москвы В.М. Загорский, парижский ученик Ленина, начальник военного гарнизона Г.В. Титов, член РВС Красной Армии Александр Сафонов и девять товарищей рангом пониже. Ранены были члены Политбюро, редактор «Известий» Юрий Стеклов, Емельян Ярославский, А.Ф. Мясников, М.Н. Покровский, С.М. Ольминский и пятьдесят шишек помельче. На собрание ждали В.И. Ленина, но он замешкался в Кремле и опоздал.

Бомбисты не спеша вышли в соседний переулок, сели в бричку, где их поджидали Глазгон и кучер Федя, и укатили в неизвестном направлении.

За две недели до взрыва председатель ВЧК Феликс Дзержинский получил листовку, где черным по белому значился автор покушения — «Всероссийский Повстанческий Комитет Революционных Партизан». Установили слежку за квартирами известных оппозиционеров советской власти. 2 октября начальник Особого отдела 14 Красной Армии (генштаб Брянск, главком Иероним Уборевич) арестовал Сарру Каплун на фабрикации фальшивых паспортов. Из нее быстро выбили новые адреса. В конце октября в засаду на квартире Антона Восходова попал вожак боевиков Казимир Ковалевич. Он отстреливался до последнего патрона и последнюю пулю пустил в себя. При нем нашли фальшивый паспорт, но четыре месяца ВЧК не подозревало, кто им попался в сети.

Обложив логово Льва Черного, чекисты арестовали там семь человек: Тямина, Цинципера, Барановского, Исаева, Гречанника, Хлебинского и Николаева. При обыске нашли «приходно-расходную книжку» банды, список членов боевой организации, револьверы, подпольную литературу.

Сломленный на пытке Матвей Тямин подтвердил, что взрыв 25 сентября организовал убитый Ковалевич, кадровый разведчик армии батьки Махно. Типография на даче в Красково. Там же фабриковались «адские машины» брянскими часовщиками Жмуркиным и Медведевым.

4 ноября был убит в перестрелке «экс» Петр Соболев. При нем нашли три револьвера и адреса видных людей Москвы: Кропоткина, Черепанова, Карелина, Маруси Никифоровой.

Старика Льва Черного допрашивал сам Дзержинский и подловил его на слове. Или, наоборот, сам подловился — слово, данное фраеру, ничего не значит. Говорят, старик выдал всех своих подельников, но кто проверит и поверит?

Кремль победил в этом кровавом деле, но порвать воровскую связь ему не удалось.

В начале ноября отряд ВЧК под командой Мессинга и Манцева оцепил дачу служащего «Продпути» Падевича. Осада дачи в Красково продолжалась более двух часов. Осажденные подожгли дом и взорвались. При взрыве погибли Яков Глазгон, Василий Азов-Азаров, Дима Хорьков, Захар «Хромой» и хозяйка Таня. Часовщики Костик и Митяй бесследно исчезли.

Бой проигран, вещи пропали!..

Поражает невиданная сила духа боевиков: «взорвались», «покончил с собой». Я не раз пытался представить лица и повадки этих героев, увлеченных разбоем и убийствами. Жмуркина я видел в упор, Митяя – по фотографии. Ничего от суперменов. Люди толпы, но железная пружина внутри с большим запасом прочности.

В результате большевистской обработки старший из Медведевых, Савелий, поднимался по лестнице партийных чинов. Митяй застрял в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии: радиодело, тайнопись, парашют, ликвидация белогвардейских шпионов, но в 37-м жизнь испортил Савелий, ставший не на ту партийную «платформу». Он сдуру проголосовал за «агента гестапо Бухарина» и всю родню потащил на дыбу. С Митяя содрали «кубики», вычистили из армии и сунули десять лет ИТЛ без права переписки. Не сумел человек раскрыть «врага народа» Моисея Хатаева — ложись у параши под нарами.

Борьба за место в жизни!..

У Костика – концлагеря и ремонт часов. Его следы отыскались на ссыльном пункте станции Джанкой, в 1922 году. «При одном воспоминании об Орловском централе мне сдавливает и леденит мозг», — говорил, бывало, Костик Жмуркин.

На нарах он встретился с другом детства Митяем Медведевым, а в 41-м они снова разошлись.

Мировая война спасла Митяя от смерти под нарами. Его вызвало начальство, накормило горячим борщом, отвезло в Москву к высокому «хозяину». Там он встретил старых дружков по саботажу капитализма: Яшку Серебрянского, Изю Маклярского и Колю Кузнецова. Возобновились тренировки, разведки боем, прерванные заключением. Скучать не приходилось. Немцы быстро катили на Москву.

В орловской тюрьме царил беспорядок, свойственный поспешной эвакуации: битком набитые вагоны, коровье стадо, горящий архив. Убегая, большевики перестреляли весь опасный «политический блок» во главе с сумасшедшей бабушкой русской революции Марусей Спиридоновой.

«Меня прикрепили к татарской артели землекопов. Эта артель копошилась по откосам железной дороги, собирая камни в плетеные корзины и за быстроту получая “ударный котел” — он состоял из горячей воды, приправленной мякиной. Над нами, как цепной кобель, сидел стрелок ВОХРа и дремал, покуривая цигарку. Смельчаки воровали в аулах овец. Курдюки забирала охрана, а кости и потроха мы делили на мелкие части и съедали полусырыми. Второй месяц шла амнистия, а местный комендант не торопился нас отпускать. По ночам большевики запускали моторы аэропланов и расстреливали заключенных по выбору».

Голод, лагерь, смерть!..

До Жмуркина не добрались. На орловский аэродром сели «хейнкели», «юнкерсы» и «мессершмиты». Орда пленных красноармейцев.

Гражданин загробного мира Костик Жмуркин вернулся в Брянск и поселился в конуре ослепшей матери. Безработные брянчане у биржи труда. Тусклый репертуар городского театра. Саранча и гессенские мухи. На базаре Потехин, Курбатов, Чубаркин, Подгайский — все брянс-

кие воры как на подбор. Лафетный мастер Савелий Мосин принес на ремонт ржавые ходики с кукушкой.

Брянск — город обманчивый. На географической карте он занимает огромное пространство, не уступая великим городам мира, а на деле это три оврага и четыре улицы с тупиками: Галерный овраг, Васильевский овраг, Петровский овраг, Московская улица, мощенная булыжником, от нее поднимаются Безымянная, Затинная, Старособорная и Карпиловская; кривые тупики не в счет.

На углу Соборной площади и Карпиловской, в витрине Горуправы красовался лубок с изображением мордастой молодки в кокошнике, сидящей на коленках усатого мужика в сапогах. Рядом нарисован младенец с козой, а за околицей — цветущие луга с ромашками. Во второй части плаката черной краской изображался мертвый боец на фоне зловещих пожарищ. Внизу надпись: «Красноармеец, выбирай: смерть или жизнь!»

1 августа 1941-го немцы обошли Брянск с двух сторон, заперев в «котел» 670 000 солдат Красной Армии, брошенных красными полководцами на произвол судьбы. Новая власть разогнала «союз воинствующих безбожников», агитатор Аронек Блантер ушел в подполье, а новый городничий, парижский шофер князь Львов, для услаждения православного уха повесил колокол на главном соборе. Быстро решили и геральдический вопрос, сменив название брянских улиц на старый манер, вопреки глухому сопротивлению базара, уже привыкшему к именам Моисея Урицкого, Моисея Володарского и Розы Люксембург.

Брянские интеллигенты, ожидавшие прихода высокой европейской культуры, выползли из подполья. Европейский шик демонстрировали Саша Булычева и Танька Карпова. Белые фетровые ботики, пышный берет, лиса через плечо. Неотразимый вид. Моя тетка Саша Булычева, неисправимая западница — портрет Греты Гарбо висел у нее в красном углу, рядом с Богородицей, — сменила магазин-

ную вывеску на немецкий лад, с готическими буквами. Пригодились курсы немецкого и быстрые мозги.

«Гутен морген, герр майор Фельдгейм!»

Нет, нет у нас «унтерменшей». Такая вывеска украсит любой Унтер дер Линден.

Новый боевой курс!..

Брянский комендант, майор фон Фельдгейм, пораженный смекалкой брянской девушки, выбрал у нее серебряный портсигар за 30 марок и пригласил в гости.

Саша Булычева, на зависть Таньке Карповой, пешком грязь не месила, а всегда в майорском «пикапе» с шофером.

Грязному, провонявшему махоркой уряднику Васюку Калмыкову здесь делать нечего. Значится на немецком жалованье, а вообще прибился к немцам в расчете поживиться.

«Не посрамим земли русской»!

В Брянск понаехали иностранцы. Берлинцы и парижане, варшавяне и датчане. Князь Львов, капитан лейб-гвардии Семеновского полка, двадцать лет за баранкой парижского такси, нос задрал так, что кочергой не достанешь. Интеллигенция города носила его на руках. Нахал метил в генерал-губернаторы Московии. Мсье Ветров из автомобильного парка. Посланник графини Брасовской, лейтенант абвера герр Гауптман. Журналист Никон Первухин, ученик почтенного Ивана Созонтовича Лукаша, своеобразный беллетрист известной фразы: «Петербург есть весьма громадная вещь». Обольстительная Валя Токарская в роли Офелии. Мученики русского просвещения, приятные мужчины в брюках навыпуск: Юрий Трегубов, Алексей Бочаров, Эдуард Шагальский. Поднимают культурный уровень большого города.

По Московской улице марширует батальон русских добровольцев, «витязей» земли русской. Впереди майор Курт Вайзе.

«Волонтеры Полка Особого Назначения на обедне в Покровском Соборе дружно пропели “Господи, благослови”», — писал журналист Первухин.

Вперед по болотным кочкам!..
Работа. Дисциплина. Порядок.
Лучшие люди страны!..
В ноябре 41-го полиция выгребла брянских евреев, застрявших в своих норах. Для начала 1214 стариков, старух и детей перебили в Пятницком рву.

* * *

Костик Жмуркин жил невидимкой. После трех советских судимостей, не дававших права на голосование и продуктовые талоны, его оценил Третий рейх, позволивший трудиться часовщиком. В мастерскую приходил князь Львов, мечтавший о высокой должности в «Русланде». Немцы знали о его державных мечтах, выходящих за пределы германской политики, и не одобряли.

Митяю Медведеву представился случай загладить свою вину перед «партией и правительством». Пожилого капитана НКВД (43 года) и двух напарников сбросили в брянский лес.

«Мне доверили опаснейшее задание, — вспоминает Д.Н. Медведев, — выследить и обезвредить с помощью местных брянских партизан белогвардейскую банду князя Львова, терроризирующую Брянский округ и жестоко расправляющуюся с коммунистами и гражданским населением».

Не знаю, кого «терроризировала» банда Львова, но 16 сентября 41-го в урочище Жуковка Митяя принял отряд окруженца «Бати» (генерал Бакунин).

Ну князь, держись!..

Группка подпольщиков, на которую вышел Митяй, состояла из кучки базарных воров и одного окруженца, представлявшего партийную совесть организации. Стратегический пост банщика давал ему возможность выдавать через одного, не думая о последствиях. Его услугами пользовались не только русские, но и немцы.

«Война из-за говна», как выражался поэт И.С. Холин. Город Брянск — город «узловой». Чугунка на Смоленск и Ригу, на Москву, на Киев, на Гомель. Гоняют эшелоны во все концы. Солдаты и пушки, дрова и хлеб.

Как все порядочные воры, Костик Жмуркин жил в сыром подвале с лучиной вместо света. За занавеской копошилась слепая мать. Шуршали голодные крысы. Прыгал отважный кот.

Митяй привык жить по приказу. Тихий исполнитель чужих замыслов. Катехизис мировой революции и глубокий коллективизм души. Пожилой, заросший мужик с мешком за плечами раз постучался в подвальную щель Жмуркина и сказал: «Костик, выручай!»

Костик сразу опознал Митяя. Они были ровесники, росли на одной улице, сидели за одной партой, вместе воровали яблоки в монастырском саду, вместе валялись на тюремных нарах.

Нет, такие не разоружились!

Как пленили парижского князя — картинка из полицейского фильма. Сани по первопутку. Свой человек на козлах. Торговец огнестрельным оружием Сашка Сабуров. Мешки с картошкой. Пара носильщиков в немецкой форме. Настенные часы с боем. Патефон с голосом Вертинского.

Самолет «ПО-2» подобрал мешок с князем. Митяй и «Батя» Бакунин взяли курс на Москву. 12 февраля 1942 года Митяй получил первую боевую награду, а генерал Бакунин и князь Львов исчезли в неизвестном направлении.

После войны Митяй взялся за перо. Я прочел его сочинения «Это было под Ровно», «Сильные духом», «На берегах Южного Буга», где сюжет придуман и приглажен «генеральной линией партии» тухлых 50-х годов. Человек, проживший страшную и выразительную жизнь, ничего не рассказал о ней ни современникам, ни потомкам.

Расстрел брата Савелия, исстрадавшаяся семья в заложниках, жизнь на волоске, а человек гонит заведомую халтуру для советского юношества.

Начальник Брянска, майор Густав фон Фельдгейм, человек прямой как палка и без особого воображения, насмотревшийся за шесть месяцев брянского спектакля — тулупы, шапки, лапти, — русским совсем не доверял. Он давно и с большой неприязнью смотрел на шутки русского князя, мечтавшего о великой и неделимой России. Великая Германия ничего не потеряла, кроме мешка с брянской картошкой.

Без евреев Брянск почернел и опустился. На улицах появились голодные волки и разбойники, на базаре — ворованная еврейская посуда. Рабочих «Центроторфа» заела вошь. Нечем кормить детей и скотину. Опять социализм в отдельно взятом уезде и членские взносы.

В город тайком пришел партийный партизан Семен Никулин (опять моя родня!). Его повязали тепленьким по наводке банщика Емлютина. Еле оторвали от горячей супруги.

Семен Никулин — первый висельник Брянска.

Такого прямолинейного насилия Брянщина еще не знала. Большевики много и охотно убивали, но втихаря, заметая следы. Эти иноземные гады убивали напоказ, под дулом кинокамеры.

* * *

Судьба тети Саши Булычевой — самого счастливого оборота.

Она всегда тянулась к культуре. Если одеваться, то лучше всех, и в школе, и дома, и на отдыхе. Очень ценила вежливое обращение и порядок. В кино шла с мужем и всегда в нарядном, крепдешиновом платье. Заграничных картин не пропускала. Там жизнь была веселей и чище советской.

Никакой поблажки небритым грубиянам, знакомство не ниже капитана. Танцы в «казино» не прекращались до августа 43-го. Открыто, до утра. Шеф кухни — сам хозяин

Леонид Степовой. Огурцы и капуста собственного засола. Шнапс — брянский первач.

Брянчане с осторожным любопытством ждали появления Красной Армии. Немцы подло нас сожгли. Военная стратегия или месть? – не могу сказать. За нашу дурь, что ли? Не признали немецкого порядка. Весело горел деревянный Брянск, но где жить?

Тетю Сашу немцы «угнали» в Германию. После освобождения вернулась в Брянск, дождалась мужа и как ни в чем не бывало встала с ним за прилавок антикварного магазина. В 47-м родила дочку Татьяну, выходила внуков и умерла восьмидесяти лет в богатстве и почете.

Своеобразная женщина моя тетка.

Полк особого назначения под командой майора Вайзе переправили в Европу и разбросали по немецким частям Франции, Италии и Бельгии. Три батальона вошли в армию генерала А.А. Власова.

Быть самим собой — не значит быть хорошим.

2. Бабушка Варвара Мануйловна

(по запискам В.М. Абрамовой)

Еще до Васильева дня – 1 января старого стиля – бабушка Варвара, ссыпая картошку в погреб, упала с лестницы и повредила себе руку. Сперва думала, что обойдется, но рука разболелась, и фельдшер Мироныч определил перелом кости. Смазал дегтем, замотал тряпкой и уверил, что так срастется как на собаке.

— Варвара Майнуловна?

— Ну что тебе, Параша?

— Вам записку принесли, – Параша сунула желтый треугольник. – Мальчишка из Управы прибегал.

Бабушка вспомнила, что такие треугольники из оберточной бумаги появились лет десять назад. Их составляли из бумаг старого времени или школьных тетрадок.

— Как Щипаная? — взволнованно начала она, надевая очки. — Вчера она не снесла!

— А сегодня она выкинула яйцо без скорлупы, — виновато ответила Параша.

Записка оказалась от дочки Саши Булычевой. Их встреча отменялась на ближайшее время.

— А не пойти ли нам к обедне, дорогая моя Параша?

Рябая баба Параша двадцать лет хозяйничала в этом доме, и, конечно, ей было известно, что сегодня праздничный, Васильев день.

— После самовара и пойдем.

Старый плешивый кот притащил из сеней мышь в зубах. Добыча попискивала. Варвара Мануйловна вышла во двор. Над кучей гнилой соломы копошились три курицы.

— Щипаная заболела, — подумала она, разглядывая повадки кур, пустынный сад, забор в снегу, серое небо. — Что будет со Щипаной? Придется ее убить!

Двор — сирота!..

Муж скоропостижно умер от удушья. В сенях висел его тулуп. Она его любила с благодарностью. Дети разбрелись по своим семьям. Самая последняя, Саша, привела в дом торгового молодца в шевиотовом костюме с тросточкой. Зять Анатолий, снимавший угол, перебрался к ней в просторный дом. Тесть и зять сразу возненавидели друг друга. Молодые собрали чемодан и перебрались к чужим людям.

Бабушка вернулась к самовару, раздобыла в шкафу кусочек гербовой бумаги и принялась писать огрызком химического карандаша.

«Здравствуй, дорогая доченька! Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь? Времени, согласись, прошло немало с тех пор, как ты ушла с Анатолием. Я вас мало видела, мало говорила с вами. Потом мне показалось, что я потеряла тебя, и это не давало мне покоя. На моем пути встали грубые, невоспитанные люди, от которых я только страдаю. Мысленно я никогда с тобой не разлучалась, помню каждое твое слово, каждую гримасу, каждую шутку. Попроси

начальство, чтоб тебя отпустили. Мне очень трудно одной. Летом ты поможешь мне ворошить сено, это совсем не трудно, но я одна боюсь работать в лесу. Когда поедешь, Сашенька, то захвати с собой белой мучицы на лапшу, крупы и сахару, если нельзя, то обойдусь. Сосед Матвей Хлюпин привез своей матери сапоги. Может быть, и ты привезешь мне для осени какую-нибудь обувь. Буду очень благодарна. Я в ней нуждаюсь. В последнее время Параша не выпускает меня из дому, и я в церкви не была уже две недели, а это для меня наказание, я ведь не могу, чтоб не ходить в церковь. Передай привет Сергею Мироновичу и скажи ему, что очень прошу пожить, а Дусю мне очень жалко, вдова с тремя детьми. Будь здорова. Целую крепко».

Чинно высидев часок за самоваром, они съели постную лепешку из отрубей, выпили кипяток, заваренный сухой малиной, и собрались.

По улице промчался мотоцикл с парой немецких жандармов.

«Они уедут, — подумала Варвара Мануйловна. — Россию нельзя завоевать. В восемнадцатом они приезжали на поездах, потом как угорелые вернулись к себе в Германию».

У церковной ограды, под красивой рябиной стояли сани без седоков. Соборного протоиерея давно выслали на Соловки, и служил отставной поп Федул, маленький и почти слепой, с бельмом на глазу. В памяти он держал всю службу, но разобрать ее было невозможно. В холодной часовне собралась кучка дрожащих от холода молельщиков. Словоохотливость попа находила между строк Святого Евангелия другие слова, но разобрать их было трудно, как, впрочем, и сам текст Писания.

В полдень сели за стол. На первое Параша подала картофельный суп, на второе – вареную свеклу, и фруктовый чай на десерт. Дочка Нюра обещала принести молоко. Можно сделать молочный кисель.

После обеда бабушка записала на клочке старой газеты:

«Какое счастье, что есть крыша над головой и верная Параша. Сарай с дровами, соленая капуста, три курицы и кот. Раньше я не думала, что просто дышать и видеть свет Божий — уже чудо. Раньше казалось, что прекрасны лишь “чудные мгновенья”, а мир ничтожен и пуст, а теперь, на старости лет, каждый миг жизни — настоящее счастье».

И с другой стороны клочка:

«Вчера в страшных мучениях умер петух. Затек кровью левый глаз. Соседи его изувечили: били в голову. Снеслись Краснушка и Белая, Щипаная — нет. Растительное масло кончилось. Одна-единственная пара обуви».

Из окна открывался сосновый бор и речной простор. Волосатый мерин упрямо тащил воз с сеном. На чердаке что-то ухнуло. Поднялась метель. Дымчатый кот притащил в комнату дохлую мышь.

— Пошел вон, паршивец! — улыбнулась Варвара Мануйловна. Кот обиделся и выскользнул за скрипучую дверь. — Ты всегда хочешь поставить на своем, — прибавила она вдогонку, — и хочешь, чтоб мы всегда ссорились.

Однако она вышла вслед за котом в коридор, оделась потеплее и направилась в курятник.

— Щипаная заболела, — заглядывая на насест, подумала она, — сегодня она не снеслась. И, должно быть, яйцо без скорлупы склевали куры, придется ее зарезать.

— Варвара Мануйловна! — окликнула ее Параша из сеней. — Щипаная сегодня не снеслась, яйцо куры склевали.

— Знаю, ты мне об этом говорила.

— Нюра кувшин молока принесла.

— Пусть она заберет смородину. У нее дети.

Еще до переезда на Болото, в голодное время гражданского разбоя, когда народ восстал на Царя, она выходила и вырастила пятерых из семи. Все встали на ноги. Муж — мастер древесных дел: пилить, валить, строить. Родился с деревом. На гнилом болоте он отстроил пять домов —

себе, сестре, старшему Васе, дочкам Клаше и Нюре. От него пошел поселок.

Зять Анатолий Булычев и муж, почему они невзлюбили друг друга? Думаю, что Василий Егорыч не задохнулся, а его задушил подушкой зять. Варвара Мануйловна разгладила ученическую тетрадку былых времен и огрызком простого карандаша написала:

«1 Января — 14 по-новому — 1942 года. Вчера вызвали в полицию, но обошлось благополучно. Завистник Лужецкий предлагал посадить Ивана. Другие возражали.

Видела во сне Василия Егорыча, который ушел не простившись. Около пяти часов ночи у меня был припадок, но обошлось. Щипаная снесла яйцо, но его склевали куры. Печник Полехин сказал сегодня в церкви "мы к вам притерлись, а вы к нам притерпелись". Погода по Брусу: снег».

Вошел снова кот, потерся хвостом о дверной косяк.

«Питание и здоровье. Организм человека находится под влиянием окружающей его среды: работа, климат, общество людей — все это влияет на человека.

Желательным и чрезвычайно полезным продуктом для всех является молочный кисель. Вскипятить три стакана молока, положить пол-ложки соли, полчашки сахару, четверть палочки ванили и вскипятить.

Не следует долго кипятить кисель. От этого он становится жидким и водянистым. Для жидкого киселя картофельной муки берется вдвое меньше пропорция, чем для густого, он всегда подается горячим. Жидкий кисель можно исправить тем, что прибавить в него разведенной картофельной муки и дать вскипеть, мешая, чтобы не образовались комки. Слишком густой кисель можно разбавить горячим ягодным соком, но не кипятком, отчего получается водянистый вкус.

Кастрюлю снимают с огня после того, как кисель раз вскипел, так как от более долгого кипения кисель сделается снова водянистым».

«Хороший край нужнее хороших людей» (А.И. Герцен).

Надежда всегда сильнее воспоминания. Жалкое питание, сырость и холод, а главное — старость.

Ясность не в форме, а в любви.

Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего.

Как у нашей у Параши все по новой моде: ищет крупы во дворе, а дрова в комоде.

«8-е марта 1942. Здравствуй, дорогой сынок Ваня! Письмо твое от 13 февраля я получила. Но когда прочла и узнала, что ты не получил моих писем, очень опечалилась. Я отвечаю на все твои письма, где они теряются? Что ты собираешься приехать, это очень хорошо и для меня радостно. Я только и живу этой надеждой. Приезжай с женой, и тогда увидим, получится у нас что-либо или нет. Будем устраиваться так, чтобы всем было хорошо. Я была бы очень рада, если бы вы приехали поскорей. Я сейчас совсем уж утомилась. Что называется, разорвалась на части. Я тебе писала, что тетенька твоя крестная умерла под Рождество.

Дорогой сынок, если возможно отпросить у начальства, чтобы по семейным обстоятельствам тебя отпустили к матери — я крайне нуждаюсь в твоей помощи, я совсем одна и не успеваю ни в чем.

Ваня, не я, а ты меня забыл. Раз нашел жену, которую будешь любить и заботиться, а я буду помощницей. Буду терпеть и ждать вас обоих вместе. Приезжай, мой родимый. Когда приедешь домой, то захвати с собой какого-либо продовольствия — мучки белой на лапшу, крупы, сахарку. Если нельзя, то обойдемся. Матвей Хлюпин привез для своей матери сапоги. Может быть, и ты привезешь мне для зимы какую-либо обувь. Буду очень благодарна: я очень в ней нуждаюсь.

А пока в надежде на скорое свидание, твоя мама.

Доброго здоровья и успеха в делах твоих».

«1 мая 1942 г.

Малютка и Красная обе к вечеру скинули яйцо без скорлупы. Сорокалетняя напряженная работа взяла зре-

ние, ослабила его до крайней степени, одиночество взяло силы. А старость и болезни доконали свое дело: ревматизм, подагра, склероз выбили из рабочего строя и сдали в архив.

Посеянные в гряды семена лучше засыпать перегнойной землей, а не землей с гряд: легче будут всходить.

Успеем. Не успеем. А делать будем.

Оладьи без дрожжей».

«Май, 1942-й год.

У Веры Григорьевны три тяжелых припадка: утром и полпятого дня предродовое.

Малютка, Красная и Белая. Получила от Нюры 2 фунта чернослива и около 2-х литров молока. С 13 января по апрель получено от нее же 20 фунтов черного хлеба и около 2-х литров молока. Уплачено за апрель — 20 руб».

«14.5.42 г.

Первый гром был. Посадка рассады огурцов. Получ. от В.Гавр. Абрамовой. Вера родила дочку. Окрестили Светланой.

Получено за траву из сада — 1 л. молока. Вскопала картофель две борозды.

Малютка и Белая».

«24.5.42 г.

Чеснок полола и мотыжила. Получено за траву из сада — 2 литра молока. Белая и Малютка ушли из курятника непроверенные. Щипаная где-то снеслась в другом месте. В 4 часа пополудни начался очень сильный дождь с очень большой грозой и градом, редко падавшим. Продолжался дождь до 20 мин. пятого. Потом с перерывами начал моросить кратковременно. Основательно промочил землю.

Должно быть, сделала большую ошибку, посеявши семена огурцов в борозды, наполненные компостом, золой и коровьим перегноем, предварительно не смешанными с землей в борозде».

«1942 г. 5.6.

Посадила базарные огурцы. Рыхлила почву и окучивала от Лужецких до Веры Гавр. Засыпала сверху перегноем, смешивая куриный навоз с золой. Посадила репчатый лук, чеснок, картошку сильно завяленную.

Был дождь.

Посажена свекла рощеными семенами (чесночная гряда). Посадила борозду картофеля около любимой красной смородины. Посадила 2 бор. бобов мочеными, рощеными семенами. Посеяла 2 бор. фасоли мочеными семенами по соседству с бобами и 2 бор. фасоли сухими семенами.

Посадила несколько шт. столовой свеклы. Рассада получена от Веры Гавр. Буду на день затенять досками. Посадила несколько штук брюквы, полученной от нее же. Посадила несколько штук моркови (рассады), полученной от нее же. Посадила несколько слабеньких рассадинок капусты — пока неизвестно какой, — полученной от нее же».

«21.6.42 г.

Посадила временно 11 штук помидоров, полученных от М.И. (квартирант Лужецких). Был очень бурный дождь с грозой. Александра Федоровна родила дочку. Назвали Ларисой. Живут они у Хлюпиных. Ваня подал заявление на работу в местную типографию».

«М-ц Июль 1942 г.

Начала прореживать грядку огурцов — пересажены 3 шт. и замечены сухой малиной с левой стороны. Оставшиеся растения окучила с правой стороны гряды. Около сарайчика Луж. посажено на постоянное место 3 шт. помидоров, полученных от Веры Гавр».

«М-ц Август 1942 г.

Сняла с огорода первые три огурца, голову чеснока и начала рыть картофель, а ботву с маленькими зародышами сажала обратно в землю. Что из того к осени получится?

Крестил поп дочку Веры Гавр. Мне показали внучку Лору. Ей два месяца, но видно: вся в отца.

Ваню приняли на работу в типографию.

Мне 65, но никто не пришел и не поздравил. И боятся, и брезгуют. Соседи считают, что я задушила мужа. Я не убивала, но как доказать? Разве преступно любить родную дочь и зятя? Василий Егоров задохнулся в подушке. Когда мы вошли, он был мертв.

Кто поможет моей мертвой душе?

Белая. Красная. Щипаная».

Жизнь с примесью навоза.

3. Школа верховой езды

Великий князь Михаил Александрович, младший брат последнего русского императора, в зеленом местечке Брасово растил лошадей особой породы. Фанатик орловского рысака, он по звуку копыт бегущей лошади безошибочно угадывал поступь своего любимца.

Великого князя считали разбалованным придурком, неспособным править Россией, но за одно это лошадиное качество я бы ему поставил памятник из лучшей бронзы.

Портрет графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского на вороном Барсе, родоначальнике орловской породы, висел у него на видном месте брасовского конезавода. Михаил Александрович был непоколебимым сторонником орловской породы и презирал американских производителей.

«Слава отечества не померкнет, — постоянно повторял он, — ибо гений орловского рысака бессмертен».

Знаменитый рысак пошел от датчанки Сметанки и араба Барса – подарок турецкого султана графу А.Г. Орлову.

Защитника орловского рысака большевики расстреляли как опасного политического конкурента, а образцовое хозяйство в кратчайшие сроки превратили в руины, предварительно отработав породистых лошадей на гражданской войне. Остатки лошадиного класса растащили брасовские коммунары для тягловой силы с коростой по бокам.

Морганатическая супруга князя Наталья Сергеевна Брасовская с сыном Георгием удрали за границу, где жили впроголодь, давая уроки кройки и шитья парижанам.

Дата: 1941 год — военный, ничего романтического. В начале июля немецкие захватчики взяли Прибалтику, Белоруссию, Смоленск, Севск и Брасово, заперев в «котлы» миллионы бойцов Красной Армии, вооруженных палками вместо винтовок. Начались людоедские лагеря военнопленных, поборы оккупантов, пуля в затылок и нож под ребро.

Большевики Брянщины под свист и улюлюканье народа бежали в Ташкент, бросая лошадей, рабочих и крестьян. Когда в имение Брасово приехал пожилой полковник фон Рюбзам, симпатизирующий русским унтерменшам, то коней не обнаружил. В доме Великого князя взломали старинный паркет и утащили оконные стекла. От теремка, где работал известный живописец Жуковский, увековечивший Барса и Сметанку, торчала почерневшая труба камина. Полковник, молодым лейтенантом посетивший конный завод в 13-м году, был потрясен вандализмом русских людей и приказал вернуть лошадей в конюшню.

«И бысть радость великая во Брасово».

В деревню пришел суровый европейский порядок, чистая раса «викингов», а не какие-то чурки с предгорий Харькова.

Судьба советских военнопленных — черная, позорная и зловещая часть русского коммунизма. Пять миллионов красноармейцев всех чинов и званий, попавших в немецкий плен, не существовали для кремлевских вождей.

Для любого вояки плен — это позор и трагедия. Гибель в неволе — жизненная катастрофа. Летом 41-го мой дядя Трофим Сергеевич Воробьев сразу попал в окружение, сражаясь дубиной с немецким танком. Немцы спешно согнали пятнадцать тысяч военнопленных в колхозе Хомутовка под охраной четырех сторожей без собак. Прибалтов, татар и хохлов сразу отпустили по домам, а брянские,

калужские, рязанские гнили скопом, не зная, что делать и куда податься. За месяц Трофим отощал, оборвался и едва держался на ногах. Яловые ботинки с него содрали воры, обмотки стерлись в лохмотья, шинель украли блатные. И спал под проливным дождем на голом холме без единого укрытия. Явились людоеды и ядовитые вши, стрельба охранников и смерть. Когда в лагерь приехал молодой лейтенант и сказал «ифельд Великого князя», Трофим понял, что спасен от преждевременной смерти.

«У нас сто марок в месяц жалованье, ночлежка и довольствие германского солдата», — заявил агитатор конного завода.

Трофим выполз на четвереньках к черному «мерседесу».

Трофим Воробьев родился в семье фельдшера Брасовского конезавода Сергея Мироновича Воробьева, где был четвертым сыном по счету. Он вырос среди лошадей. Великокняжеская конюшня. Запрягал, кормил, ковал, чистил. Лошадь его любила и платила отличной работой за уход. Военнопленный сержант Красной Армии получил назначение в знакомое имение, где жизнь вращалась вокруг одного стержня — конного завода орловской породы, и в кратчайший срок собрал по хатам ворованных орловцев, которых знал в лицо.

Я уже говорил, что поселок Брасово и деревни вокруг — Алтухово, Лопандино, Сомово, станция Локоть — вошли в ведомство Локотского округа, управляемого русским начальством.

Это бедная страна. Топкие болота с редкими посевами конопли и гречихи. Правда, отличные, заливные луга для скота.

Родного дядю Трофима я долго не замечал. Ну, как герань на подоконнике или колода во дворе — примелькался, неинтересен, да еще школьный завхоз: трубочисты, говночисты, дрова и мусор — тоже мне профессия! Впервые я прицепился к нему на поминках убитого брата Шуры, зимой 1964 года. Дядя Трофим позвал меня к себе помянуть

любимого племянника, и в застольном разговоре оказалось, что он знает «как облупленных» всех дружков моего брата — и Яна Понятовского, и Ванька Чубаркина, и наездника Колю Ганефельда.

Сразу предупреждаю, не придирайтесь, я не знаток конного дела, а всего лишь восхищенный наблюдатель лошадиной красоты, как и тысячи других лиц, неспособных погладить жеребца по холке, не говоря о таких глубинах, как очистить лошадиные бока от навоза и причесать гриву.

Сейчас это кажется далекой легендой, но в 41-м году на брянской земле не было коммунизма.

Исторический сдвиг.

Дядя Трофим жил в Брасово припеваючи. Кормился у корыта с овсянкой, спал на сеновале и грелся у Тоси Парфеновой, работавшей экзекутором Локотского государства. Конечно, жизнь не обходилась без самогона, но как без него, если сам герр полковник фон Рюбзам считает слаще шнапса. Жизнь имения (сто тысяч десятин) вращалась вокруг одного стержня — конного завода. Все деревни вокруг жили за счет имения. Конюхи, кузнецы, шорники, кучера, наездники, коновалы, манеж, ипподром, сено, солома шли оттуда — и над всем этим миром воля одного хозяина, полковника Рюбзама. К новому хозяину, да еще говорящему по-русски, быстро притерлись. Два раза в неделю он приезжал на конюшню, и конюх Трофим выводил орловцев из денника перед требовательным зрителем.

«Гутен морген, герр полковник!»

«С лошадьми я начал работать сызмальства. Поставить лошадь на просмотр знатока — большое дело».

Рассказы Трофима Сергеича навсегда запали в мою память.

«...Жил я на авось, сам понимаешь... приезжий фраер покрасовался в седле и фидерзейн, а я местный, мне все расхлебывать... хоть болотисто, а мое место здесь... поставить лошадь на просмотр...»

Пейзаж немецкого экспрессионизма.

В 32-м пустующие конюшни имения приспособили под тюрьму. Сажали саботажников агрокультуры и малограмотных кулаков, скрывавших самогон от советской власти.

Имение Великого князя неоднократно грабили и разоряли. В 19-м балтийские матросы запрягли породистых орловцев в артиллерию. Бродячие атаманы Фома Кожин и Пантелей Кочерга не проехали мимо. В 30-м остаток табуна списали в совхоз «Брасово» и окончательно загубили породу. Конюх Трофим Воробьев спас орловца от гибели, и за это ему глубокий поклон.

Зимой 42-го в домиках конезавода ржали сытые и чистые орловские рысаки. Лиц, укрывших частную собственность, сурово наказывали по законам военного времени.

«Да рази все расскажешь», — бывало вздыхал мой дядя.

Я нарисовал его портрет в три четверти, простым карандашом, «на память» и старательно, «без кубистических загибов». Дядя нежно погладил меня по наголо стриженной и круглой, как футбольный мяч, голове, и я, сирота, проникся к нему благодарностью прирученного дикаря.

Трофим изменил Локотскому государству. Летом 1943-го конный завод посетили высшие лица оккупационной зоны: мадьярский генерал Шандор Пфеффер, обер-бургомистр волости Бронислав Каминский, лейтенант абвера Гринбаум и полковник фон Рюбзам со свитой служащих. Конюх Трофим поставил рысака, как никогда, красиво перед важными гостями. Цепкий глаз мадьяра лег на вороного Самурая, красу и гордость завода. На ипподромах он всегда был первым.

О невольничьих рынках, о продаже кавказских рабынь на брянских базарах я не слышал, но чем черт не шутит, ведь в старину торговали девственницами и работниками, господа бояре меняли своих рабочих на породистых лошадей.

«Только что скосили рожь», — доносил в Берлин командующий Центральным фронтом фельдмаршал фон Клюге.

Анонимные граждане Локотского округа копали картошку, думая о предстоящей зиме, ребятишки купались в речке, поднадзорные валили лес.

Мадьяры стояли в соседнем Севске, не мешаясь с немцами. Оттуда и нависла угроза над табуном орловской породы.

Конюх Трофим не имел своего мнения, хотя кончил семилетку и держал в ежовых рукавицах десяток коноводов призывного возраста.

Однако он считал, что законы созданы для того, чтобы честной народ обходил их в свою пользу. Первый раз он изменил законам Сталина, не умерев смертью храбрых с палкой в руках, теперь изменил полковнику Рюбзаму. Конечно, можно было изменить и раньше, сразу перекинуться к Сашке Сабурову, кочевавшему рядом, но на сеновале в Брасово, да еще с горячей пулеметчицей Тоськой Парфеновой, было теплее и сытнее, чем в сырой землянке лесного мстителя.

В августе 43-го Б.В. Каминский получил назначение перебросить свое воинство в Полоцкий край. При посадке в вагоны сбежали местные жители. Деревня нуждалась в рабочих руках. Рожь, картошка, конопля. Каминский предупредил, что всех работников Локотской страны большевики расстреляют, но люди все равно убегали.

Когда из штаба фронта пришла бумага с позволением оседлать мадьярам брасовских лошадей, их и след простыл. Трофим Сергеевич угнал табун в непроходимый лес. Скрылись и рабочие конезавода.

Яд большевизма в рядах самостийников.

Школу верховой езды прикрыли из-за недостатка скаковых лошадей и желающих ездить верхом.

Мой отчим Илья Петрович Зарубин остался при пеньковом заводе.

Явились московские победители.

Немцы убивали из пулеметов, растрачивая драгоценные боеприпасы. Старались прикрыть преступление зем-

лицей. Советские чекисты экономно убивали в затылок, бросая трупы на растерзание шакалам. Родня могла разобрать своих покойников и похоронить за свой счет.

Гитлер силен, а Сталин еще сильнее. Надо выкручиваться и выживать.

Из огромного обоза Брони Каминского (50 тысяч человек) убежали вооруженные капитаны Михаил Белов, Юрий Самсонов и Ванек Чубаркин. Они скрылись в брянском лесу и еще пять лет подряд забивали крупный рогатый скот, сбывая его в частные руки, до тех пор пока их не выловили чекисты в 50-м и не сунули по четвертаку на рыло.

Илья Петрович Зарубин, почесывая седой ус, сказал мне раз:

«Броня Каминский — мужик грамотный, не чужой».

Что можно добавить к такому заключению?

4. Локотской улус

Обширный кусок современной Брянщины, пожалуй, не меньше Албании; так называемая «Камаринская волость» — все знают песенку о «злом камаринском мужике» — с давних времен была очагом кровавых смут и разбоев, где всевозможные атаманы и самозванцы со стороны чувствовали себя как дома. В этом треугольнике — «Брянск—Орел—Севск» с населением около пятисот тысяч человек — в 1941 году возникла еще одна авантюра под названием «Локотской автономный обкруг» с мальтийским крестом в качестве герба.

Все «восточное пространство», а это Шестая Часть Света, германские захватчики планировали разбить на ряд «казачеств», «ханств» и «улусов» с туземным управлением. Особенно этими планами увлекался чертежник Альфред Розенберг, старый партийный товарищ Адольфа Гитлера по мюнхенским пивным. Вокруг него, ставшего

министром в 33-м году, крутилось всевозможное национальное жулье, потерявшее доходы в царской России, типа гетмана Скоропадского, донского атамана Петра Краснова, претендента на престол Грузии Ираклия Багратиона и многочисленных князей и бояр Прибалтики и Бессарабии. Прямолинейный фюрер презирал эмигрантскую шваль — приживальщиков и попрошаек, считая, что только колонизация и германизация спасет человечество от гибели, но прощал старому товарищу мелкие прихоти. Ведь сам Розенберг был русским подданным из Риги, закончившим строительное училище в Москве.

Древняя дорога из Малороссии в Московию разрезает нашу разбойничью волость на две части: на левую — непроходимые, черные брянские леса, гадюки и комары на сто пятьдесят километров, и на правую — перелески с пятнами хуторов и деревень. Жители этих мест, привыкшие к иноземцам всех толков, хладнокровно и покорно их принимают, а потом сдают более сильным авантюристам.

Когда говорят «Локотская республика», «Локотская Русь», мне хочется хохотать до упаду, потому что никакого народного представительства, кроме военной казармы, здесь не было и нет. Железнодорожный поселок Локоть-Брянский, где обосновалось туземное правительство, — это полустанок: шлагбаум, стрелочник, деревянный вокзал местного назначения. Курьерские поезда проносятся на Курск и дальше, в Крым, мимо вросшего в болото соломенного жилья. Летом мелькают гнилые крыши, а зимой соломенные хаты так заносит снегом, что отличить трубу от куста может только дальнозоркий пассажир. Сырьевых богатств никаких, если не считать «даров леса», древесного спирта, пеньки и картофельных огородов. В древности земля платила дань татарам и называлась «улусом», теперь — немцам, но подчиненным улусом быть не перестала. Назовем ее так же.

Я до сих пор ломаю себе голову, чем руководствовалась советская власть, ссылая опасных врагов народа в эти по-

граничные места, и не нахожу объяснений. В 1700 году моего предка, московского стрельца, с семьей сослали на «брянский рубеж» нести пограничную службу, но в 1937-м это был не рубеж, а опасная близость Речи Посполитой, иезуитов Рима и тевтонов Третьего рейха.

Человек опытный и образованный, преподаватель математики в Локотском техникуме, Константин Павлович Воскобойник успел посидеть в советской тюрьме и спрятаться в брянской глуши, где грамотных охотно брали на любую работу. Его ненависть к большевикам копилась постепенно. Задолго до появления танков Гудериана он убедился, что коммунизм есть абсолютное зло и беспросветная жизнь под вечным надзором кремлевских опричников. Еще до прихода немцев он знал наперечет всех жополизов безбожной власти. Постепенно в голове ссыльного «казака» Воскобойника созрела идея «независимой русской волости».

Исторический сдвиг!..

Генералы центрального немецкого фронта дали «добро» на эксперимент брянского сепаратиста.

Нет, мы не лыком шиты, господа немцы!

Мой отчим, Илья Петрович Зарубин, человек непьющий, семейный и строгого поведения, смирно трудился на пеньковом заводе Локотского округа. Он служил десятником под руководством ссыльного инженера Бронислава Владиславовича Каминского. Куда отгружали пеньку и древесный спирт, его не интересовало: в Киев, в Москву, в Берлин. Главное — не прерывалась работа, платили жалованье и выдавали продуктовые карточки. В рассказе о Броне Каминском я опираюсь на его свидетельство.

«Мужик был правильный, хоть и ссыльный».

Бронислав Каминский — не «морально опустившийся бандит», как утверждает чекист Щеглов (1967), а примерный семьянин, инженер с дипломом Ленинградского университета и германофил от роду. Его мать отлично владела языком Гете, и понятливый сын усвоил его, хотя злые ло-

котские дамы поговаривали, что говорит он с явной примесью идиша, но какое это имеет значение, если человек предан европейской культуре. Обязательная служба в РККА, университет, неверно выбранный «партийный уклон» в эпоху комсомольских чисток — и парень полетел на поселение в российскую глушь. С приходом немцев на Брянщину поднадзорное существование кончилось. Человек слова и дела, прекрасный организатор масс и ловкий защитник местных интересов, Каминский стал любимцем локотских жителей. И рядом сплошь ссыльные соратники: Аркадий Проскурин, Тихон Задора, Федор Шавыкин, Арык Сельнинев (калмык), Павел Мартынов (казачий офицер), капитан Красной Армии Юрий Самсонов (Абрамов), Лаврентий Воронин, Иван Фролов (военный), Николай Никитский (Костенко), журналист военного листка «Боевой путь» Михаил Белов, Антон Тюленин, Яков Алехин, Гаврила Мирошкин, Григорий Балашов — видные правители волости и командиры, люди, не принявшие советской власти, «хоть с чертом, но против большевиков».

Так уж получилось, что в «Камаринской волости» прижилось множество верующих всех толков, адептов катакомбной православной церкви и всевозможные группы протестантов.

Из меня плохой защитник Локотского улуса, он весь в дерьме по горло. Гордиться нечем. Подумаешь, крутили немецкие фильмы и катались на рысаках орловской породы, а как спрятать костры, куда живьем, как поленья, бросали целые деревни?

Новый порядок, по существу, ничем не отличался от старого, советского. Повсюду небритые рожи, грубость обращения и давка за буханкой хлеба. Обещанные булки, масло и курятина попадали на немецкий стол.

Гонимые сектанты получили лучшие места в локотском государстве, но брянские леса кишели партизанскими бандами.

В лесах бродило множество вооруженных групп, не представлявших серьезной угрозы Локотскому улусу. Известный партизан Сашка Сабуров (когда комсомольцу нет и тридцати, сокращение имени позволительно) бежал из немецкого лагеря, был оприходован московскими чекистами и принес много огорчений гражданам Брянщины. Налеты и грабежи беззащитных деревень были его специальностью.

В квартире городничего Воскобойника готовили запрещенную в Совдепии новогоднюю елку, дети как угорелые прыгали вокруг, жена паковала подарки, когда в окно влетела смертоносная бомба. Налетчик Сабуров испортил людям праздник. После такой подлянки пришлось поработать пулеметчице Тоське Парфеновой. За вождя Локотского улуса на расстрел поставили целую толпу. Но кто думает о таких мелочах, как сотня камаринских мужиков и баб?

В ином географическом пространстве, где-нибудь в Парагвае или Уругвае, из идей Воскобойника создавали бы «школы» и «направления», выгоняя успех и деньги, но в сыром углу России великие идеи сгорают на лету, как бабочки над костром. Проходимец Сабуров сумел ликвидировать опасного конкурента Москвы, но не Локотской улус.

Новый наместник Броня Каминский оказался круче своего мирного предшественника. Вместо одной охранной роты он добился от немецкого начальства вооруженной бригады с многозначительным названием Русская освободительная народная армия, РОНА. Ввели особые знаки отличия и геральдику. Горячая кухня, казарма, тренировки.

Колхозы отменили. К немцам притерлись.

Вместо лаптей и обмоток появились крепкие сапоги, вместо дубин — автоматы и танки.

Русские вассалы без претензий на мировое господство пришлись Берлину по душе.

Древний и бойкий большак из Малороссии в Московию работал на полную мощность. Желающих получить новые сапоги было так много, что высшее начальство испугалось вооружать сто тысяч добровольцев. Аппетиты локотских правителей ограничили бригадой в шесть тысяч бойцов, остальных отправили на подсобные работы в автопарки, на аэродромы, армейские кухни и в лесную охрану.

«Солдатушки, бравы ребятушки!»

Витязи Локотского улуса!..

Локотская полиция очистила территорию от воров, кишевших на стратегической железной дороге «Киев — Москва», вредивших продуктивной деятельности государства. Лесные мстители попрятались в глубокие норы, не смея высунуть нос.

Культпросвет был поставлен на высокий, невиданный в советской России уровень. Работали школы и кинотеатры, играли лучшие актеры страны, в библиотеках читали Шмелева и Бунина, чернорабочие лечились в теплых больницах, бездомные дети водили хороводы. Люди пели, танцевали, парились в бане и еблись. По обычаю тех мест любовники не целовались на морозе, а всегда дома, под теплой крышей и под присмотром опытных родителей.

Компас и карта в такой стране не имеют значения. Все знали, что немецкая машина, сломавшая Совдепию, непобедима.

Крупп, Даймлер-Бенц, Мессершмит.

Надежная техника, не так ли?

Я неисправимый гуманист. Людей убивать нельзя. Локотчане не выдержали экзамена. Оправдать убийство может только тяжело психбольной, провокатор или дурак. Любой враг народа имеет право на жизнь.

Бывало, колхоз имени Адама Мицкевича требует расстрелять врагов советского народа как диких зверей. Третий рейх сжигал целые народы, неспособные трудиться. Локотской улус полез туда же.

Одного приблудного чухонца арестовали на базаре за нелегальную торговлю гвоздями. На дыбе с кнутом он признался, что не обычный промышленник, а московский шпион. Сломленного чухонца повесили на лобном месте.

Налетчик Ванек Чубаркин вышел из тюрьмы под честное слово.

Таких раньше давили, как клопов на Соловках, а сейчас обмундирован, сидит на крыльце в немецком картузе и щелкает семечки.

Где их растили, в каких парниках?

Москва нам не нужна. У нас пенька первого сорта. Край цветущей культуры. Народный хор. Международные бега на брасовском ипподроме. Лучший картофельный огород в Европе. Если надо, раздвинем географию пошире, от Жиздры до Сейма, отрежем пару уездов у нерадивых соседей.

Будущее за нами!..

* * *

«Кровавый Сталин и его еврейская клика бежали в Сибирь», — писал в локотской газете «Голос народа» Николай Самарин.

«Считаем необходимым практически разрешить вполне справедливый и давно назревший вопрос образования Национальной Социалистической Партии России».

Политическая шизофрения или дальний расчет?

Не просто Локотской улус, а вся Россия!

Ведь дураку ясно: дай русскому унтерменшу винтовку, он сразу начнет стрелять в спину Великой Германии.

Приезжие мошенники, воры, двурушники быстро овладели диалектикой «нового порядка»: пожить в удовольствие, а там будет видно. Писателя Локотского улуса, Николая Александровича Самарина, я встретил в Мюнхене, в 1976 году, на новогоднем банкете в югославском ресто-

ране. За столом собрались мои старые знакомцы по Москве, американец Джон Дорнберг, супруга немецкого журналиста Миха Ридмиллер, «фольксдойч» Лиля Бауэр, моя супруга Анна Ренатовна и новенькие: полковник американской армии Леонид Иванович Барат и седеющий мужчина в слегка потертом американском костюме, приятель Барата Николай Самарин. Когда-то, в 50-х, они открывали радиовещание «Свободной Европы», а теперь жили на заслуженной пенсии, толкаясь по мюнхенским кафе. Самарин горел желанием опросить меня вдоль и поперек. Настоящие земляки ему не часто попадались на Западе.

На мой вопрос, как идут дела на радиостанции «Свобода», он ответил:

— Да ожидовела русская станция, ожидовела! — и все за столом дружно рассмеялись.

«Звериного антисемитизма», о котором говорил журналист Матусевич, я не заметил, но легкий и беззлобный юмор еврейского анекдота он не скрывал.

Я знал, что мой дядя Иван Абрамов, автор военных романов, в молодости служил в типографии «Брасовский коммунар», однако господин Самарин расширил его типографскую деятельность.

— Ну как же, Ванюшку Абрамова хорошо помню. Он не работал, а сидел за патефоном и точил иголки. Бедовый мужик, хороший танцор, девки по нем с ума сходили.

Выходит, что Самарин и Абрамов служили в типографии «Голоса народа» и «Боевого пути» до того, как она стала «Брасовским коммунаром».

Типография та же, а названия газет разные.

Пережив все муки в глуши Локотского улуса и губернского Орла, Коля Самарин попал в пересыльный лагерь «остовцев» в Германии и оттуда перебрался в Америку, где искали грамотных советских людей для современного разговора. Иван Абрамов с патефоном и невестой застрял на Брянщине и оттуда отправился штрафной ротой на фронт, где потерял здоровье и ногу. В 45-м вернулся калекой на костылях.

О членстве Н.А. Самарина в локотской «национал-социалистической партии» я не стал спрашивать. Вопрос не очень модный в Мюнхене. Потом я узнал, что американцы его подловили на фальшиво оформленных документах, отобрали паспорт и выставили за дверь. Метранпаж Иван Абрамов стал сочинять фальшивые романы о войне и умер в глубокой старости.

* * *

Истинных намерений Третьего рейха брянские самостийники не знали. Жили на слух и всухомятку. Любители, как водится, строчили доносы в комендатуру, шкурники прятались под бабьей юбкой, воры заметали следы преступлений, молодки не терялись, и сволочь тихо поднималась на первые позиции.

Грабят, режут, шапки срывают.

Распоясались лесные банды. Они забирали у крестьян мелкий и крупный рогатый скот, портили девок и скрывались в лесу.

В патриотизме Брони Каминского я не сомневаюсь, но это особый, локальный патриотизм. Сейчас на него повесили всех собак «за неисчислимые зверства» на Брянщине, а затем в восставшей Варшаве, но на самом деле он старался убивать как можно меньше, а легенду о «зверствах» сочинили главари гестапо и подсунули как бесспорный исторический факт.

Ликвидацией врагов локотской казармы занималась бесстрастная москвичка Тося Парфенова. С улыбкой на устах она косила людей из пулемета, как траву в сенокос. Простодушная и работящая девчонка доплелась с огромным обозом Каминского до Полесья и там слиняла в лесу. Тридцать лет работала в литовском колхозе, получала медали и премии. Ее накрыли совсем недавно и присудили к расстрелу при молчаливом согласии пацифистов. Все-таки две тысячи жертв на счету.

Сейчас бытует «исторический факт» о расстреле пятисот жителей села Верхополья отступающими немцами. Поскольку Верхополье — родина материнского рода Абрамовых-Никулиных-Ереминых-Леонтьевых и входило в состав Локотского государства, то я с особым усердием искал причину преступления.

Зимой 1958 года я посетил родину материнских предков. Охота за кабаном, выпивка за свежей жаренкой, разговоры о том и о сем. Меня поразила пустота большого села. Занесенные снегом и брошенные избы, аракчеевский собор в пулеметных дырах. Моя родня, живущая в лесничестве, Карпуша и Татьяна Абрамовы, на мой вопрос, почему в селе тихо, как в могильнике, отвечали в один голос:

— Да вить в войну всех перебили, а кто выжил, уехал.

На Брянщине не принято выдавать своих властям. В старину кормили и поили атаманов Глинского, Шаховского, Болотникова, двух Лжедмитриев. Так называемые органы правопорядка: охрана, полиция, милиция — работают заодно с народом, потому что всюду родня. Доносчики и карьеристы — чаще всего приезжие люди издалека, «чужие». Их презирают и сторонятся. Их детишек бьют в школе, их сады трясут и всячески им гадят. Стоит чужаку оступиться, сразу затопчут.

Летом 1943-го и дураку стало видно, что фрицам крышка и «Локотской улус» чужака Каминского — пустая затея. Пора ловить чужаков и сдавать победителям.

Нет, по-немецки мы жить не умеем и не желаем.

Шакалы кремлевского сыска под названием Смерш («смерть шпионам!») явились за спиной наступающей Красной Армии. В развалинах Белобережского монастыря был спешно образован «фильтровочный лагерь» для местных врагов народа. В Смерше заседал палач по фамилии Матвей Гридин. Чугунолитейный образец большевика. Хромовые сапоги, гимнастерка до колен и синий картуз чекиста. Сельского старосту Фому Никулина (судя по

фамилии, моя родня) и десяток полицаев повесили в назидание нерадивым хлеборобам. Девок, баб, спавших с немцами, детей, бросавших камни в джип Матвея Гридина, перебили из пулемета и побросали в развалинах, как мусор. Выживший и сохранивший память Карпуша Абрамов собирал родных и хоронил в «братской могиле».

Вешали и отстреливали в Навле, Лопандине, Комаричах, Суземке, Синезерках, Севске, Брянске и Орле. Двадцать тысяч подозрительных загнали в «штрафные роты» пролетарской дивизии и отправили на передовую. Свои преступления московские победители списали на счет немцев.

Расстрел пятисот жителей Верхополья лежит на кровавой биографии коммунизма.

На главной брянской площади для устрашения повесили пару немецких генералов, попавших в плен, Фридриха Бернгарда и Адольфа Гаммана.

«Их много, всех не перевешать», — думал мой дед, скотоврач Сергей Мироныч на месте экзекуции.

5. Мертвая голова Сергея Хольмберга

В августе 1975 года я купался в Атлантике. Нормандский берег Франции. На пригорке бронзовый бюст живописца Жана Франсуа Милле (весь в Лувре!). Старая лошадь в густом тумане. Давно ослепла и качается от старости. Доживает свой век на воле, пощипывая травку. Живем с женой в местном замке шато Корде. Каменный дом в два этажа, скотный двор, опустевший коровник, огромный сарай с телегами внутри. Вот на такой двести лет назад девица Шарлотта Корде с кинжалом за пазухой отправилась в буйный Париж. Нормандка мстила «другу народа» Марату, призывавшему истребить всех аристократов от малого до великого. Она убила агитатора в его ванне.

В 1943-м хозяйку шато и бабушку моей жены мадам Лаббе упекли в тюрьму за связь с «резистантами», и опустевшую усадьбу занял немецкий саперный батальон.

Мой звенигородский хозяин Сергей Николаевич Хольмберг, одетый в немецкий мундир, воевал в Шербуре, а ведь мог воевать и в Корде, та же линия Атлантического вала циклопических размеров. Мой будущий хозяин пять месяцев возводил и месил бетон, выстраивая дзоты и доты на побережье Атлантики. Монотонный солдатский быт в армии «лиса африканских пустынь» Эрвина Роммеля. Сколько русских добровольцев, «хиви», работали на немцев: сто, двести, триста тысяч? В далеком Шербуре они варили кашу и слушали патефон с дисками Сандро Вертинского.

Взять такую бетонную крепость могли лишь ценой огромных потерь превосходной техники. Так и вышло. 6 июня 44-го союзники бросили на вал мильон отборных, до зубов вооруженных бойцов. Обе стороны лихо дрались два месяца, не считаясь с потерями, а 6 августа союзники взяли верх, и немцы отступили.

Не считая убитых и пропавших без вести на пляже Омаха-Бич в союзный плен попало сорок тысяч русских «хиви». 22 июня пал Шербур.

В старину любили воевать. В бой рвались с дубиной наперевес витязи в тигровой и овечьей шкуре. Ладные и красивые люди. С ними все девять муз налицо. Сейчас воюет убогий народ. Его гонят на убой, как скотину на мясокомбинат. На восемьсот «русских» саперов в немецкой форме американцы смотрели как на цирк. Косоглазые калмыки, копченые узбеки, блондины европейской породы. Среди них рыжий Хольмберг.

Я изучал Атлантический вал дзот за дзотом (военные сооружения, немыслимые в советской стороне по качеству архитектуры и обьемной обороны), читал стихи Н.А. Некрасова (единственная русская книжка, найденная в библиотеке шато: «не жди особенных наград: что Бог послал,

тому будь рад», «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», «хорошо поет собака, убедительно поет», «выйду, выйду в рожь высокую» и все в том же поучительном стиле), попутно рисовал абстракции, ползая на коленках, и постоянно думал о судьбе моего друга Сергея Николаевича Хольмберга.

Набравшись наглости, я наобум позвонил профессору медицины Сергею Михайловичу Толстому в Париж. К моему удивлению, медик внимательно выслушал мой отточенный рапорт и пригласил на встречу в Славянский институт на рю Мишле.

* * *

Из почтенного рода графов Толстых, много сделавших хорошего и плохого русской цивилизации, в Париже осели «Михайловичи», потомки младшего сына великого писателя Льва Николаевича. Не ведаю, как они жили в Самарской губернии, их русской вотчине, но Михаил Львович состоял в рядах Белой Армии, а оттуда попал в эмиграцию. Эмигрант хорошей подготовки. Катковский лицей в Москве, факультет естественных наук МИУ, прекрасное домашнее воспитание. Такой научный запас и житейская хватка позволили всерьез заняться оливковыми садами в Марокко. Своих детей — четыре сына, три дочки — марокканский фермер отправил учиться в Париж и Лондон. Медику Сергею и его брату Илье запомнились русский пансион в Париже и драматический кружок князя Феликса Юсупова, где занималась исключительно титулованная молодежь: великая княгиня Мария Павловна, графиня Уварова, княгиня Васильчикова и три графини Толстые.

Несмотря на общую эмигрантскую бедность, русское дворянство держалось своей касты, не путаясь с казачками и мужичками неизвестной породы.

Об этом в общих чертах я знал от С.Н. Хольмберга и его московской родни, но одно дело треп в саду о недо-

ступном мире, другое — разговор с живым дворянином лицом к лицу.

В уютном помещении библиотеки института меня ждал представительный пожилой мужчина с утиным, толстовским носом, усадил в кресло и с любопытством присмотрелся. Я сразу и горячо выложил свою биографию в сокращенном виде, выделяя свое знакомство с Хольмбергом. Тянуть за язык его не пришлось. Вспоминать прошлое Сергей Толстой любил и, кажется, готовил книжку о разветвленном семействе Толстых, пустивших корни на всех континентах нашей планеты.

Я ничего не знал о медицинской деятельности Сергея Михайловича, для меня его жизнь состояла из одной строчки: «дядя Хольмберга». После приятной беседы, скорее, лекции о роде Толстых в тихой библиотеке, где С.М.Т. держал адрес ассоциации «Друзей Льва Толстого», я получил новые и надежные сведения о европейской деятельности моего звенигородского хозяина. Конечно, я обещался записаться в «кружок», аккуратно платить членские взносы и опасаться интригана Николая Юльевича Вайсбайна, лучшего специалиста творчества Льва Толстого и учителя моей жены.

* * *

Призванный в ряды РККА в пограничном Белостоке механик автобазы лейтенант Хольмберг получил сверкающий никелем «ЗИС-5», загрузил кузов мотками колючей проволоки и двинулся к несуществующей линии фронта.

Комбат сказал «туда и обратно пулей», но так не получилось. Грузовик застрял в непролазном болоте Полесья, Хольмберг с парой красноармейцев, проплутав среди бизонов и волков, укрепрайона не нашли и сдались за милость завоевателей. На ломаном немецком лейтенант Хольмберг заявил, что он сын шведского инженера и правнук Льва Толстого. Немцы ничего не поняли и ме-

сяц эксплуатировали военнопленных на устройстве лагерей заключения.

Его саперное прошлое мне кажется неубедительным. Я с ним копал картошку в Звенигороде. Лопатил он плохо и в плену, очевидно, стал «надзирателем», смотрел, как копают другие.

Танковый галоп немецких армий (один Гудериан чего стоит, 29 октября 41-го он уже спал в Ясной Поляне) завязывал в «мешки» и «клещи» советские дивизии, а бывший красноармеец Хольмберг служил немецким хозяевам.

«Хайль дем Фюрер!»

Охранную команду, куда он попал, погнали не на Восток, а на Запад, в оккупированную Францию, и высадили в Нормандии. Высокий, стройный, рыжий «хиви» с суровым лицом викинга производил хорошее впечатление на немецкое начальство и быстро продвигался на службе за аккуратную работу.

На православную Святую Пасху 1944 года обер-лейтенант «восточного батальона» получил отпуск в Париж.

В крутеж-вертеж мировой войны — оси, союзы, разделы, аншлюсы, бегство, увечья, голод, смерть — русская эмиграция распалась на две заметные части: «державников» вроде генерала Деникина, композитора Рахманинова, писателя Бунина и «самостийников» вроде атамана Краснова, кавказского шейха Саида Шамиля, калмыцкого бонзы Шамбы Балинова. Украинцы дружно встали под немецкие знамена. Русским казакам, доказавшим свое арийское происхождение, вожди Третьего рейха обещали независимость от Московии, и шесть тысяч человек всех войсковых соединений изъявили желание сражаться с большевиками.

В новой, нацистской Европе места для России не отводилось.

На мой аккуратный вопрос, как жилось русским в Париже военного времени, Сергей Михайлович ответил одним словом «плохо», хотя перед страданием «унтерменшей» Брянщины это «плохо» звучало не очень убедительно.

Ровесники не виделись почти тридцать лет, но сразу узнали друг друга, толстовская, утиная порода написана на лице того и другого. Идет навстречу парень в немецком мундире, каких полно в Париже, а кто он на самом деле — попробуй, отгадай: шпион Коминтерна или провокатор гестапо?

Разве знал дядя Сергей, что племянник Сергей обречен на сибирские лагеря — участь всех советских граждан, надевших повязку полицая, картуз вахмана или перчатки рабочего европейского рудника?

Потомки Льва Николаевича, осевшие на советской территории, за двадцать лет основательно «покраснели», их язык «пятилеток в четыре года» был непонятен русским эмигрантам, но былое не забывается, ведь вместе ловили пескарей в Тульской губернии.

Появление Хольмберга в Париже произвело значительное волнение. Во-первых, человек был «оттуда», а главное, правнук графа Толстого оказался мастеровым парнем. У дяди, на удивление домашних, починил водопровод, у князя Феликса Юсупова вставил оконные стекла, у графини Натальи Брасовской прочистил толчок от засора, у актрисы Инсаровой-Рощиной починил бельевой шкаф.

Осел есть христианское животное.

Кто осудит пять миллионов советских рабов, брошенных Совдепией на произвол судьбы? Сегодня Сергей Хольмберг щеголяет в мышином мундире вермахта, а завтра окажется в берете Сопротивления. Сорвет замки с немецкой пушки и получит орден Почетного легиона. Жизнь полна сюрпризов. Отдыхающий Хольмберг шел нарасхват. Отстоял пасхальную обедню в храме Святого Александра Невского, разговелся в хорошем обществе, ознакомился с веселым Парижем: новые фильмы Марселя Карне, френч-канкан, ресторан «Chez Korniloff». Пасхальный отпуск пролетел в угаре встреч и разговоров.

Опросил его знаток военных дел, генерал Николай Николаевич Головин, и авторитетно заявил, что дальше

Варшавы большевиков не пустят. Будет мирное соглашение. Союзники не допустят гибели цивилизации в Европе.

Дух эпохи и напрасные надежды!..

6 июня 44-го Франция задрожала от американской бомбежки. Полетели болты и щепки Атлантического вала. Шербур атаковали с моря и с суши. Через десять дней немецкий гарнизон сложил оружие. Саперы Хольмберга сдались американцам.

В пересыльном лагере Англии — Кадекс, графство Сассекс — военнопленный Хольмберг прошел санитарную очистку и был направлен в Северную Америку, в Форт Дикс, Нью-Джерси. После первого опроса эти люди не изъявили желания возвратиться на родину, предпочитая чужбину. В Америке это был огромный, цивилизованный лагерь с больницей и читальным залом. Советские граждане в немецких мундирах у простодушных американских властей числились «немцами», однако на допросах кричали на своих азиатских языках, производя небывалый хаос в канцелярских делах.

«Кормили нас как на убой, — не раз вспоминал С.Н.Х. — Привозили холодильники, битком набитые ветчиной и супами. Я так никогда не питался за всю свою жизнь, как в этом американском лагере».

Потом прошел слух, что лафа кончается и предстоит выдача Совдепии. Пленные подняли бунт с поджогом комфортабельных бараков. С криком «долой большевизм», «не хочу домой» они перебили охрану и устроили резню вольнонаемных чинов. Озверевшие американцы подавили восстание со свойственной им основательностью и без всякой пощады. «Немцев», кричавших по-русски, как скот, загнали на итальянский пароход, отходивший в Европу. Последних сто пятьдесят, самых непримиримых, подсыпав снотворное, в бессознательном состоянии загрузили в трюм, как бревна. Там никто не вешался и не прыгал в море. Всех скопом доставили на стройки коммунизма.

Сергей Хольмберг со своим горьким опытом советских «пятилеток» вовсе не собирался домой, но считал, что ему крупно повезло, получив «червонец» исправительно-трудовых лагерей вместо расстрела. Он без пререканий осознал свою ошибку и десять лет, от звонка до звонка, служил родине честным трудом.

Человек проснулся на Колыме. Вокруг все родное и близкое. Низкое, свинцовое небо, колючая проволока, охранники, воры и суки, мужики и придурки. Гитлер капут, и да здравствует Сталин!

Часть вторая

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР

Следовательно привет от всех.
А.Т. Зверев

Мы писали, не гуляли.
Лев Толстой

1. Благодарный внук и сын

В старину для грамотных людей имелся учебник на девяносто девять пунктов о правильном составлении писем матери и отцу, свекрови и свекру, тестю и теще, брату и сестре, благодетелю и подчиненному, как объясниться в любви и складывать пакеты, как писать извинительные билеты, просительные и деловые записки, аттестаты благодарности.

Моя бабушка Варвара Мануйловна в совершенстве владела этими правилами. В моем распоряжении есть «деловые записки» и заготовки писем, ответы родных и незнакомых мне людей. Гербовые трехкопеечные открытки царской печати, шершавые карточки советских времен с новым гербом и красной маркой работы скульптора Шадра — исключительно для внутренней корреспонденции, открытки сороковых годов с изображением колхозницы и прибавлением «куда», «кому», с выразительным штампом «просмотрено военной цензурой». Письма, написанные под диктовку малограмотных лиц и никогда не отправленные.

С бумагой в советской стране было еще хуже, чем с хлебом. Писали или на «дореволюционной» бумаге, или на листках ученических тетрадей — по линейке или в клеточку. Их запихивали в конверты самодельной работы,

клеили хлебным мякишем и отправляли на почту. До «советско-германской» войны письма доходили за границу и приходили оттуда, потом такое баловство прекратили, а неловких писателей пересажали по тюрьмам и лагерям за «связь с врагами народа».

Я выбрал три образца писем бабушки, адресованных брату Никите Губонину, служившему в Харьковском военкомате, сыну Ивану Абрамову и дочке Саше Булычевой.

«Я пишу письма с таким старанием, трепетом и желанием, что письмо пропитывается потом и присущим мне запахом, что его из тысячи узнаешь. 5 января (1930 г. — *В.В.*) я тебе, Никитушка, написала такое потное письмо, убила на него часов пять, а когда Василий Егорыч прочитал, то сказал: "кому все это интересно?"

Второй день сидим дома и любуемся полочкой, увешанной картиночками пяти кондитерских коробок. Картинки отобрал с 1905 по 1913 год Вас. Ег., купил мне игрушек руб. на 25. 1929 г. я прожила с большой грустью. В нем я была странной, не совсем нормальной. Люди обращались со мной, даже просили совет в нужных случаях, а что даст новый 1930 год? Он страшит своей неизвестностью, и по состоянию здоровья я его боюсь. Хорошего лета не жду, урожаев в саду тем паче: мы ничем не поможем в саду. На отдых я еще чувствую силу, а на работу сил нет никаких. Делаешь все через силу и потому так утомляешься».

Письмо адресовано любимому брату и осталось в коробке в эскизном виде, неотправленным. Очевидно, Никита Мануйлович никогда его и не получил.

«29.11.46 г. Здравствуйте, мои кровиночки!

Большое Вам спасибо за поздравление, за пожелания и память обо мне. Только я не успеваю вовремя отвечать и поблагодарить Вас за все тепло, которое ко мне приносит почта.

Провожаю каждый ушедший день не иначе, как с угрызением совести. Простите меня, милые! Ваня, женщи-

ны твоей семьи пусть примут от меня запоздалое поздравление с “женским днем” и чистосердечное пожелание всего вам лучшего, в особенности здоровья, без которого я лично не вижу, не чувствую ни счастья, ни радости и никакого благополучия в жизни, а вижу и очень чувствую растущую тревогу за собственную судьбу скорого времени. Эти чувства бродят, ищут выхода изо дня в день, из месяца в месяц и не находят его. Тоска, одиночество давят меня, выжимая последние силы, которых нужно так много, когда человек остался один».

Письмо адресовано Ивану и Александре Федоровне Абрамовым, строившим новый дом на Болоте. Бабушка жила у сестры Полюши в многонаселенном бараке на Красноармейской улице.

«Очень сильно простудила ноги, и ко мне внезапно подкралась поясничная боль, которая крепко держит до сего времени. Страдаю нестерпимо: ни сесть, ни лечь, ни нагнуться без боли нельзя — одна сплошная боль. К врачам не хожу: они такой возраст не любят. Просто терплю и таю с каждым днем. Нашлись добрые люди и ставят на поясницу горчишники, но пока легче от этого не бывает. Без врача трудно определить, по какой причине она болит и какие нужны средства, чтобы от страданий избавиться. 12 февраля я вернулась опять к Полюше и живу до сего времени.

4 марта на меня обрушилось новое горе. Перед вечером пошла проведать наш брошенный дом, посмотреть на замки: не сломаны ли? У входной двери упала во весь свой богатырский рост, на левую руку. С большой болью поднялась и вернулась к Полюшке, промучилась всю ночь. Что у меня — ушиб или перелом?

На другой день утром написала хирургу письмо, прося приехать и определить: что у меня?

Хирурга в Брянске не оказалось. Он в Брасово и приедет поздно вечером. На третий день приехала и, осмотрев руку, ласково сказала: “Вар. Ман., а ручку вы сломали”.

Попросила одеться и послала в больницу. Загипсовали руку на целый месяц и привезли обратно. Разве это не горе? Разве это не ужас? А мне пишут пожелания долгой и счастливой жизни, успеха в труде, а у меня этого успеха давно нет из-за возраста и плохого состояния здоровья. Как же я теперь буду жить с одной рукой? Заживление идет очень плохо из-за старости и плохого качества крови. А осень совсем убьет. Милая моя, Сашенька! Теперь я тебе задам несколько вопросов, на которые убедительно прошу...».

Набросок письма адресован Саше Булычевой и на этом обрывается.

Я шел тропинкой бабушки. Мне далеко до совершенства ее писем, но я неуклонно следовал ее образцам с первой «жалобы», направленной в 50-м году товарищу Н.М. Швернику, руководившему амнистией заключенных. Маме и брату писал старательные письма из Ельца, Чебоксар, Москвы, Ялты, Дербента, Парижа, но ни разу — бабушке. Нас, внуков, было слишком много у нее, и она нуждалась в спокойствии. Письма ко мне от друзей, подельников и любимых были далеки от совершенства старой школы, особенно возмущали меня небрежные каракули оскорбительного вида и для бумаги, и для меня. Мать писала, экономно используя бумагу, но слепота мешала сосредоточиться, и фразы часто повторялись. Чтобы не быть голословным, приведу выдержки из ее писем за 1969—74-й московские годы.

Письмо без даты, но есть бледный штемпель от 1969 года.

«Здравствуй Валя я все считаю тебя маленьким а ты уже взрослый мужчина поздравляю тебя с новым 69 годом и желаю здоровья и счастья.

Я получила от тебя письмо и отвечаю. Валя вот ты пишешь что побывал на юге и в тарусе а я тут думаю что случилось волнуюсь вот ты был маленьким я почему-то так не волновалась.

Валя я выслала тебе посылку а потом подумала все таки страшно но решила будь что будет, Бог на помощь. Пиши быстро что получил все в порядке а то народ у нас такой»

(Я не раз просил мать не слать мне соленых грибов в стеклянных банках. Они часто бились на пересылке, и вместо грибов я получал груду битого стекла.)

«Июнь 1969

Здравствуйте Валя и Оля. Я посылку от вас получила и спасибо вам за все но прошу вас не высылать мне посылок у меня так много всего в запасе я не знаю кому достанется если умру

жизнь я прожила тяжелую и сама удивляюсь что еще живу пока

я обо всем писать не буду а приедете все расскажу

у нас в брянске 2 месяца не было дождя ужасная пыль и жара грибов в лесу не было и все погорело Валя я видела что Оля тебя любит и я довольна осталась вами когда вы были у нас и я тебя прошу как сына не надо ругню заводить ты пошлешь ее зарабатывать 70 рублей и будешь ходить в магазин стоять в очереди как кухарка у плиты а разве это не работа жены валя у вас детей нет пусть она ухаживает за тобой прошу тебя не надо доводить до развода надо чтобы она у тебя была как кукла у тебя есть возможность если у тебя нет денег то я дам тебе деньги но береги человека а не деньги прошу тебя не гони ее на работу она тебе нужна дома надо ей купить хороший зимний плащ и сапожки и шапку тогда я тебя похвалю»

(Знала бы моя мать, что моя подруга не умеет стирать, пьет как бочка и у плиты не стоит, как кухарка!)

Год 1970.

«Валя я все получила и деньги и письма почта принесла прямо в хату и говорит ну клава радуйся принесла радость и выкладывает деньги и письма тут я расплакалась»

(Мы играли в «посылки»: мать мне соленые грибы, а я ей — «дефицитные» вещи, не существующие в Брянске: мохеровые мотки, китайские платки, чулки.)

«письмо твое я получила 8 марта спасибо за все у меня есть и одежда и обувь напасли продуктов всяких мясо на базаре правда дорого телятина 25 руб килограмм свинина 30 руб а вот хорошей селедки нет если можешь купи килограмма 2 если хочешь приехать на пасху 13 апреля то приезжай числа 10 обновок никаких не надо»

(Конечно, на Пасху я привез большую коробку балтийской сельди, и на кладбище устроили тризну по покойной родне.)

«10 июля 70 г. Здравствуйте Валя и Оля посылаю вам низкий поклон и пишу сразу ответ на письмо Валя ты писал Нинке чтоб она узнала про дом в Трубчевске но оттуда пока не ответили а узнает обязательно напишет Я только удивлюсь зачем тебе там дом посмотреть как люди живут в других местах что ли Забыла поздравить тебя с Днем рождения Этот год вышел плохой с урожаем ягод мороз их побил Вырастила огурцы а ребята их покрали с дедовым внуком»

«Прошу купить тонкой черной шерсти на платье внучке 2 метра и цены бывают разные есть по 7 рублей есть по 9 дороже Зачем на два дня приезжать и тратить средства Ты мне дал авторучку все время пишет и откуда чернила берутся удивляюсь»

«2 августа 70 г. Валя ты пишешь что отдал собаку совсем или я не поняла Сижу дома на крыльце никуда не хожу а как вечер сажусь смотреть кино 22 серию»

«23 ноября 70 г Валя у тебя так много работы что некогда написать несколько слов Внучке Вале 14 декабря день рождения купи ей пожалуста коньки».

Год 1971.

«Здравствуйте Валя и Оля Я открытку от вас получила и положила на память к зеркалу спасибо за нее У нас в Брянске холода да морозы замучили Все замерзло Дед пошел в баню мыться и упал до сотрясения мозгов Положили его в больницу Десять дней пролежал там и сейчас домой вернулся Когда будет у вас время приезжайте к нам в

Брянск Была в гостях у внучки Она хорошо играла на пианино Купила ей шапку черную меховую шапку»

«Дед» – это мой новый отчим, Илья Петрович Зарубин, заслуженный железнодорожник. Молчаливый тип, смоливший крепкие сигареты Памир. В молодости он служил простым солдатом в городе Чернигове, затем гонял товарняки с пенькой и дровами в Польшу и назад. Он был по природе своей «человек правильный», человек добра, а не зла. Поездной кондуктор, он владел топором не хуже хорошего плотника. После «советско-немецкой войны», на совершенно пустом и болотистом месте он выстроил три дома своими руками, замужним и женатым детям: дочке Мане и сыновьям Алексею и Виктору.

В 71-м вместо зеленого Трубчевска на Десне я купил дом в деревне Перевоз на речке Ипуть. Туда приехали московские друзья, Пауль и Серебряный, Валетов и Баташев. Ловили рыбу бреднем, собирали грибы, рисовали. Я пытался затащить туда мать.

«...Никуда из Брянска не поеду В моем возрасте нельзя этова делать Здоровье мое шаткое Буду жить на старом месте Я это обдумала хорошо Я и тебе не советую покупать деревянную хату зачем она тебе ты как птичка куда полетел и все с тобой летит Я письмо от тебя получила 25 июня и сразу сажусь писать ответ Валя тебе было 3 года когда началась война и шла она пять лет а в 47 тоже голодали Как сядем за стол я вам подам а сама не сажусь Теперь всего много и кормить некого а сама я не хочу»

Меня умиляли такие фразы, как «теперь всего много», хотя мать и отчим занимали две комнаты и кухню в деревянном доме, построенноым Ильей Петровичем в 50-е годы. Большую часть занимал его женатый сын Виктор, с тещей и двумя детьми, разбалованными и наглыми до предела. Сад был новый, с колодцем и тропинкой к узкой, но быстрой речке Свень, где водились пескари. Мать моя, насколько помню, всегда «болела», этакое неизлечимое томление духа никогда ее не покидало, даже в самые веселые времена жизни.

Год 1972.

«Валя за что ты рассердился на Нинку написав такое обидное письмо Она плачет а я только приехала из больницы у меня плохо с сердцем и еще операция грыжи еле живу а мне покой нужен а ты заставляешь всех болеть. Ты сам подумай как тяжело вспоминать военное время когда ты был маленьким Вот пишу письмо и горько плачу да и победа эта 9 мая не простая а тяжелая и страшная война и я не знаю чем живу жутко подумать Были морозы и ягоды совсем вымерзли и сейчас холодно по утрам Здоровье ничего, но поломались зубы и надо вставить другие, а то без них плохо»

Конечно, мать вставила зубы, и клубника поднялась.

«11 мая 1972 г.

Я деньги от тебя получила за которые большое спасибо но только зачем столько Буду живой за мной не пропадет Нервная стала совсем не помню что писать память стала плохая»

Сентябрь—октябрь 72 года.

«Валя посылку и письмо получила за которые спасибо Было у меня большое давление и думала что жизнь моя кончилась Прошу тебя не присылать мне больше посылок не забивай себе головы Если хочешь то вышли деньгами 20 или 15 рублей»

Посылать посылки и деньги для меня было не обязательством, а занятной игрой: паковать в картонку моток шерсти и текстиль, играть в дурачка — «нет в Москве хороших дрожжей», да мало ли чего нет в Москве?

«22 дек 72 г.

Посылку получила и пишу ответ что в долгу перед тобой и даже поплакала Валя ты пишешь что у вас нет дрожжей Нинка дала хватит надолго Хочу послать посылку наверное пошлю в одном ящике с Нинкой Поздравляю с Новым годом и желаю вам всего хорошего в вашей молодой жизни Петрович очень рад за подарок читал письмо и плакал Буду посылать посылку 10 января обязательно»

Год — 1973.

«Валя я твое письмо получила как раз 7 числа за которое тебе спасибо Я бы хотела купить себе пуховой платок а он стоит 100 рублей а мы с дедом получаем 70 рублей я подумала пенсия или платок. Что касается продуктов были бы только деньги а так все можно купить Сердце плоховато но думаю постепенно наладится и умирать рановато ведь мне только 65 лет»

Летнее письмо без даты.

«Посылку я получила и письмо пишу сразу Надо купить плащ для внучки белого цвета можно и красного и зеленого размер 46-2 пожалуста постарайся Внучка ходит в школу в старой болонье а ей 17 лет»

Я выслал плащ красного цвета, подарок француженки Анны Давид — снял с нее перед отлетом в Париж! Плащ оказался не брянской мерки, слишком коротковат.

«Посылку получила и письмо пишу сразу Как вы праздновали 7 ноября Мы с Петровичем были в деревне Брасово на свадьбе Его брат выдавал замуж дочку Красиво играют свадьбы в деревне».

Да, мать, ты права, красиво играют деревенские свадьбы, не довелось быть, но представляю гулянье с мордобоем под гармонь.

«Декабрь 1973 г.

Я пошла в больницу и у меня признали воспаление пупочной грыжи лечили 12 дней потом операция я лежала еще 20 дней а потом домой приехала Сейчас все хорошо стала поправляться но очень похудела Что будет не знаю до свиданья Мама»

Это у нее второй приступ грыжи, родовое что ли, или мать надорвалась, таская многопудовые мешки? Грыжа у бабушки Варвары Мануйловны, грыжа у меня (1957).

Год 1974, очень тревожный и лихорадочный.

«вот я пишу тебе и плачу и болею душой я в страшное время сорок первого года отца убили и осталась с вами Дом немцы сожгли и осталась без крова и я вас берегла в

трудное время ночи не спала работала на машинке а теперь в мирное время я живу волнением что ты живешь в большом городе У нас в Брянске трудно достать черной шерсти Нина стала чудной как будто все потеряла на свете осталась молодой без мужа и девочка растет без отца Это обидно ребенку 8 марта она выросла красивой и похожей на папу Я ее сильно люблю и всем необходимым помогаю»

Ох эта материнская машинка «Зингер», надорвалась она над ней. Всю жизнь, не разгибая спины, трудилась над шитьем сарафанов и фуфаек, зарабатывая гроши.

«Если можно купи мне вязаную кофту синюю или зеленую 56 размер не дороже 10 рублей Деньги отдам когда приедешь а больше ничего не надо. Виктора дедовского сына не выпускают другие города с холерой приезжай обо всем поговорим»

«23 апреля 74 г.

Валя получила 22 апреля письмо и шерсть быстро все получилось спасибо Шерсть хороша у нас в Брянске есть шерсть по 9 рублей но достать нельзя Вот какой у вас хороший сын сказала соседка присылает маме посылки Ты пишешь что черная шерсть траурная но самая модная для черных костюмов Валя учится в музыкальном институте на 2 курсе играет хорошо на пианино имеет награды и выступает 20 апреля Писала мама»

В письмах матери, нацарапанных простым карандашом без знаков препинания, сказано о жизни русских людей гораздо больше, тоньше и точнее, чем в толстых и фальшивых романах советских писателей. Я графоманил свои письма к ней почти тридцать лет, чем придется и на чем попало. Наша переписка прекратилась со смертью матери в 1979 году.

2. Шмон

В семидесятых годах в Москве прямой телефонной связи с заграницей не существовало. Простой советский человек шел на телеграф — провинция усложнила такой де-

марш, – чтобы заказать разговор, заплатить и в порядке живой очереди ждать, когда позовут на связь. С парижской невестой Анной Давид я сразу наладил переписку (1968), письма доходили, но она просила напоминать о себе живым голосом в телефонном разговоре.

«Понимаю, что тебе скучно идти на почту и ждать там, но, пожалуйста, звони почаще, чтоб меня успокоить».

Вот я стоял в очереди, звонил, а потом прибавились просьбы хороших знакомых, покинувших Совдепию навсегда.

Приветы и ответы родных, коллег и подруг значительно увеличились.

Зимой 68-го, в наше отсутствие (у меня в подвале квартировал поэт И.С. Холин) в помещение пришли посторонние люди и устроили тщательный шмон с кражей: исчезли рукопись Холина «Музыкальная команда», мой «бортовой журнал» с уникальными записями Зверева, Плавинского, Ситникова и многих других и пара картин, причем одна из них уже была продана жене американского посла госпоже Томпсон, а другая – журналисту Роберту Коренгольду. Несмотря на нелегальный шмон ночных посетителей, я продолжал рисовать, писать и звонить иностранцам и русским эмигрантам.

Чемодан моей парижской невесты пограничники постоянно очищали от нежелательных «подарков»: мелкая бронзовая пластика, резное дерево и прочая мелочовка, существующая в русских сундуках.

Попав на Запад (Франция, 1975), я сразу сообразил, что простой пересказ увиденного и пережитого без всяких комментариев для самого привередливого корреспондента, каким бы недоверчивым он ни был, дает положительный эффект.

Носороги государственной чистоты с особой яростью топтали эмигрантскую публицистику, но без помех пропускали дефицитные советские издания, музыкальные диски и текстиль всех сортов. Еще в Москве меня удивля-

ли огромные прорехи в сетях мирового атомного коммунизма.

Конечно, первыми потребителями Запада стала близкая родня: мать, отчим, невестка, племянница, двоюродные братья и сестры.

В 75—80-м годах у меня был пик переписки, не менее сотни корреспондентов, затем начался спад до двадцати самых бесшабашных и настырных.

«Дядя Валентин, пишет вам неизвестная племянница Наташа, — сейчас занялась спортом. От своего тренера я случайно узнала, что во Франции есть такая форма “Адидас”. Дядя Валентин, если можно, то, пожалуйста, привезите мне такую форму. Размер 28 у меня.

В эту форму входит майка, тапки, трусы, носки, сумка, костюм.

С уважением к вам, племянница Наташа».

Зачем племяннице Наташе, которую я никогда не видел, «сумка и тапки» «Адидас»? Неужели от них повышаются спортивные результаты?

Ленька Милруд-Чаплин («любитель легкой наживы», по Ситникову) стал моим первым иностранным корреспондентом. От него по прямой почте я получил почтовую открытку с видом Рима в 1973 году, пропавшую, к сожалению, в московском подвале. Подпольный мир, открывшийся Чаплину в Москве, стал постоянной его питательной средой в Европе и за океаном. Чаплин — прямой «герой распада духа» и одной заботы: как и где достать деньги на жизнь, не пачкая рук.

Человек московского, а затем и нью-йоркского дна, талантливый наблюдатель и бытописатель, он в каждом письме выдавал убедительные картинки эмигрантской жизни, со «златозубой улыбкой зоны». Его общение распространялось на все слои общества, от воров и наркоманов до капиталистов и эстетов.

«Он (Г.Д. Костакис. — *В.В.*) плохо говорит о Нуссберге, считая его замешанным в пожаре своей дачи».

«Потерял хорошую работу на 200 д. в неделю на складе шерстяных изделий».

«В районе Баха (художник Вагрич Бахчанян. — *В.В.*), копаясь от нечего делать в огромном контейнере с мусором, нашел два мешка подарков — все упаковано: золотая булавка для галстука, шоколадные конфеты, игрушки, много модной одежды и т.д.»

«Адамович (Сашка Адамович, московский турист. — *В.В.*) — негодяй, матери денег так и не отдал, ты как в воду глядел».

«Беглый каторжник Сашка Окнер надул меня на одной операции с кокаином на 500 д., правда, я потом половину выманил обратно, но крови и нервов этот медвежатник выпил у меня порядочно».

«Приходится не спать ночами и из последних сил собирать копейку, чтоб не затоптали, когда все побегут. Забыл, когда в кино ходил в последний раз, книги лежат нераспечатанные, к людскому горю потерял интерес».

* * *

Лев Нуссберг поджег дачу Костакиса!

Дача знаменитого грека в Баковке, где висела пара моих произведений в отделе русских икон, сгорела в 1967 году. Я сгорел как дегенерат. Попал в хорошее общество погорельцев: Клее, Отто Дикс, Марк Шагал, Кандинский. ...Благодарить Нуссберга за поджог или взыскать за разрушение цивилизации?

Тогда никто не задавал себе этого вопроса.

Адепт коллективного творчества Лев Нуссберг — его артель кинетистов тому подтверждение — не считал меня серьезным художником и двигателем подпольной торговли и эстетики. Моя попытка быть «я», когда все были «мы», равнялась «ножу в спину революции», если воспользоваться терминологией юмориста Аркадия Аверченко.

Таких надо давить, сжигать и топтать, никто не защитит.

О человеческих качествах московских модернистов вообще молчали.

Не принято и лишнее. Один карманный вор, другой — клептоман, третий — доносчик, но зачем пачкать творчество такой чепухой?

Нуссберг бронзовел на глазах. Захвалили ученые и комсомольцы, иностранцы и борзые собаки, жены и ученики, покровители и почитатели. И вдруг — за человеком погоня!

После ряда открыток из Германии, где он стажировался с учениками, Пашка Бурдуков и Галина Битт — все, что осталось от артели кинетистов Москвы, вместо девяти муз — трое, и вдруг я получаю от него прозаический мемуар на четыре страницы.

Письмо подаю в сокращенном виде.

«...Впервые после 20-х годов этот высший Музей купил у меня, понимаешь? Теперь я рядом с Малевичем, Кандинским, Шагалом и др.»

Американский торговец русским авангардом Леонард Хуттон, с которым Л.Н. вел дела, всучил «Соломону» раннюю работу Нуссберга.

По приезде в Америку (1981) Нуссберг, располагая некоторым авторитетом, а главное, средствами, пытался обработать русских эмигрантов, людей совсем разных, неуживчивых и злых, где бедность и зависть были единственной цепочкой, и собрать их в один «колхоз». Неясно, чем должны были они там заниматься, но то, что Нуссберг желал быть председателем «колхоза», это несомненно.

«Главный интриган и изобретатель изощренных по паскудству акций и стычек, хорошо тебе известный бездарный выскочка Витя Тупицын со своей механической и нахальной марионеткой, женой Риткой, племянницей Лиды Мастерковой — ну, бля, и родня у Лиды! — и вот "тупицы" (в кавычках, потому что этот изворотливый скорпион, пожалуй, переплюнет Шемяку с Глезером, вместе взятых) постепенно всевозможными методами обработали

Косолапого... и влезли в доверие к моржу жлобу Доджу, вытеснив жену Меламида, желавшую занять место кураторши в этом нью-йоркском монжероне Нахамкина с громким именем “Центр Современного Русского Искусства”».

Человек сгущает краски, наводит поклеп на честных людей?

Нуссберга надо пожалеть. Нелегальный перевоз национальных ценностей. Чемодан «чашников» я лично видел в Париже. Средний. Харьковский. Окантован по углам железками.

Почему артист огромного динамизма и богатого воображения, с тонкой хитростью и талантом собрать людей, топчется на месте — в чем же дело? Человек превратился в чукчу. Какое-то сборище «бурлюка русского слова», дурацкие «титьки родины» вместо досье Рокфеллеру на тему «игровой зоны», солидный филантроп с анонимным капиталом на 40 миллиардов долларов. Перевел бы на английский проект, обновил бы гардероб, ботинки, часы, галстук, автомобиль, жену.

Лев Нуссберг обновил жену и автомобиль и дальше не поехал: не смог и не дано.

Почему у меня такой поучительный тон?

Это скорее самокритика. В 83-м «перестройкой» и не пахло. Интеграция была единственным выходом из эмигрантского стада.

Ровно через три-четыре года начался переполох среди эмигрантов. Все, что казалось навсегда потерянным, богатый кусок планеты, «шестая часть света», вдруг испарилось как мыльный пузырь, рвануло, и потекла густая дрянь коммунизма. Над Кремлем взвился «власовский триколор», Ленинград стал Санкт-Петербургом, Литва вышла из Союза с малыми жертвами — десяток прохожих задавили танки, но ведь без грубости в России ничего не обходится. Народная жизнь, крепко поставленная на пьянство и спекуляцию, как-то присмирела, прикинувшись

дурачком. В 93-м новое правительство публично крестилось в Православие, выбивая последнюю табуретку у коммунистов, а в 98-м останки растерзанной большевиками императорской семьи с большими почестями хоронили в Петропавловской крепости.

До меня дошли точные сведения, что Нуссберг все свои силы бросил на русский «фронт» – восстановить историческую истину и победить врагов.

Дипломат Кирилл Махров в большой обиде, Оксана Бижар точит нож. Кто-то из них организовал наезд в Париже, заберутся и за Потомак.

Кроме этих врагов, множество точит ножи и в России.

«Расскажи специально о Гале Битт, т.е. "Зайчик", где она, что делает и т.д. Ведь я ее знаю с 1964 г., да. И она пробыла в коллективе "Движение" почти 15 лет – дольше всех: много хорошего сделала, но и много гадостей и подлостей».

О Гале Битт ничего не слышал, слиняла с моего горизонта бесследно и давно.

«И еще один мерзопакостный – Фантик (Инфанте) – пробыл в колл. 10 лет, как говорится, от звонка до звонка, до самого сентября 1972! Но, пожалуй, он всех переплюнул по грязной лжи и инсинуациям, и не только обо мне лично, но и об истории и характере нашего колл. "Движение". Я слышал, что он частенько навещает Париж — встречался ты-то с ними (а он с Г. Битт?), расскажи — из гробмановских разговоров я уловил, что ты вдарился в эпистолярный (или мемуарный) жанр? — неудивительно, язык-то у тебя всегда был острый, образный и меткий. И я люблю твои письма и высказывания».

Твоего Фантика видел в Париже с женой — высокая женщина по фамилии Горюнова, сначала на вернисаже Эдика Штейнберга, затем где-то около Бобура на прогулке. Говорить мне с ними было не о чем. Они возбужденные и суетливые, подумывают что-то свое, я ленив и неинтересен, человек без связей в обществе.

У меня серьезный разговор с Богом. С Буддой тоже.

Россия не тюрьма, а кучка дерьма.
Лева, береги чемодан Ильи Чашника!..

* * *

Художник В.Я. Ситников (по прозвищу Васька-Фонарщик) в письмах непобедим. Совершенный народный говор и всестороннее содержание. Мне посчастливилось получить от него за семь лет, 1975—1982, увесистую корреспонденцию, что составляет поучительную книгу. Человек старой чернильной школы, когда каждый клочок бумаги любили и доверялись ему во всем, почерка уникальной обработки бесчисленных упражнений умудрялся выбивать из меня международные талоны на почтовые расходы.

«1976—10—14 четв. 18 ч. Валя, работаю я за мастерскую и рисую поэтому нету денег даже на почтовые марки, а побираца... нелофко. Пришли мне почтовых марок. Если есть вопросы напиши. Когда тут будет лыжный сезон то тут будет много богатых туристов, поэтому ты можешь звонить заведующей галереей Харди Арман американка. Напиши мне как сложилась судьба Лиды Мастерковой и ее сына...»

Васька-Фонарщик из австрийского горного курорта Китцбюль, куда он перебрался из Вены по просьбе мебельного фабриканта Фердинанда Майера. Фабрикант держал галерейку для торговли курортными видами. Направлял меня Ситников внимательно, но ложным путем. Курортники лыжного сезона покупали виды горных оленей, а не абстрактную мазню. Почтовые марки я ему высылал постоянно.

Московская девица Лорик Пятницкая оказалась в моем эпистолярном кругу по наводке Серебряной.

«Сашка Васильев окончательно распался, бегает от кредиторов (50 тыщ долгу) и даже азбуки для моего карапуза достать не в состоянии.

А вот 21 ноября (1978) художники, друзья, родные и близкие схоронили Владимира Павловича Пятницкого (один из мужей Лорика. — *В.В.*) на кладбище в Долгопрудном, а отпевали его в церкви Архангела Михаила, что в Долгопрудном, рядом с кладбищем. Так-то, Валюша».

Образцы ее героического жанра я получал несколько лет подряд. Шел и вещевой обмен взаимной пользы.

Я не знаю, где и у кого учился художник Александр Леонов, но его чистописание — яркий образец конструктивной мысли. Питерский авангардист вырвался на свободу по «еврейской волне». Его графическое письмо из Вены касалось астральной темы: небо, земля, «отдел воздушных перемещений» и шмон.

«Майн либер Валентайн, “их” — то есть я — “унд майне фрау” — моя жена — “унд майне тохтер” — моя дочь Анастасия — наконец-то после долгих мытарств прибыли в город Вену».

Опять мытарства и шмон!

Лихо сказано, по-немецки, как же человеку не дать взаймы, если просит?

«Воробьеф, — писал Анатолий Зверев в 1977 году, — привет от Сулеймана Стальского АЗ 77 Фперет!»

«Приветы» А.Т. Зверева, да еще с рисунками — а у меня их штук пять, — редкость чрезвычайная. Писем он никому не писал во избежание неприятностей, но мне сделал исключение.

Фотография Сухаревой башни. Писатель Вл. Дробышев с мордастым сенбернаром и надпись на обороте:

«Валентин, это мы в 1980 г. на Колхозной площади у входа в метро на фоне дома, за которым находится твоя мастерская, так легкомысленно покинутая на разграбление».

Поддел меня писатель, но в 80-м грабить было нечего, все выгребли.

А вот пишет из Брянска невестка Нина Федоровна: «Да, Валентин, дядя Толя (А.В. Булычев. — *В.В.*) просит

тебя, если можно, крестик серебряный с цепочкой достать, а мне бы и золотой не мешало, если, конечно, можно и не трудно достать».

Ну, я не достал, а купил и кружным путем выслал.

Меня не удивило письмо Игоря Снегура (1982). Еще в Москве оборвалась наша дружба в житейской суете. Я написал «запрос» председателю Профсоюза работников культуры тов. А.М. Ащеулову: имеет ли право советский гражданин, проживающий за границей, выставляться на советских выставках, им организованных в Москве? Вместо Ащеулова мне ответил Снегур, видный активист профсоюза художников. Он начал с того, что изложил все проблемы их лавочки, свои личные мечтания, а на мой вопрос не ответил.

Теперь, когда в России открылось множество галерей и магазинов, частных «салонов», «центров» и «музеев», вопрос такого рода не возникает, но в то время ответственные лица культуры не знали, что сказать на совершенно простой и легальный вопрос, обоснованный конституцией. Конечно, я знал, что участие в выставках решает «идеологическая комиссия» Кремля и дозволяет выставляться «прогрессивным иностранцам» вроде Гуттузо, Теплицкого, Фужерона, но люди с парижской улицы задавали такой вопрос впервые, и звучал он как провокация.

Вот тебе и сонмище злых страстей!..

Зимой 84–85 г. я выставлялся в лондонской галерее Миро. Она свела под одну крышу двух москвичей (Зверев, Яковлев) и одного парижанина – меня, так сказать, в одно культурное пространство московской особенности. Выставки такого типа были немыслимы в Москве, хотя поддувал ветерок перемен.

Сумасбродная перестройка — слово придумал не генсек М.С. Горбачев, а нарком Лазарь Каганович, строитель московского метро, – открыла щель свободы. Атомный взрыв в Чернобыле (1986) пытались скрыть от народа, но не смогли. Природа, повернувшая радиацию в Европу,

начисто развалила советские секреты. Перемены я почувствовал весной 87-го года, когда немецкий мальчишка посадил свой спортивный самолет на священные булыжники Красной площади и дальновидный предприниматель Леонид Бажанов показал пару моих картин на официальной московской выставке.

В октябре 1985 года «весь Париж» с большой помпой встречал Горбачева с женой Раисой Максимовной, украшенной брильянтами.

«Генсек Горбачев ищет дружбы с Израилем», — писал я Евгении Семеновне Фрадкиной в Иерусалим.

Буквы и текст я не пишу, а рисую. Мне все равно: чту рисовать телеграфный столб, чту буквы «А», или «Т», или «Н», — одно и то же дело изобразительного искусства. Буква «И» в слове Израиль вышла как столб высокого напряжения.

Вслед за ним появились живые, никогда не выезжавшие дальше дачи в Кратово подданные Совдепии: Дудинский, Мелихов, Брусиловский, Лепин, Чуйков, корреспонденты моего круга, однако эпистолярный зуд не прекращался, мы клялись не забывать друг друга.

Наша кривобокая география превращалась в круглый стол вечной дружбы. Чуваша Генку Айги встречали люди самого высокого разбора как величайшего поэта современности. Он шел нарасхват у парижских снобов, еще вчера не запускавших таких маргиналов в переднюю. Поговаривали, что Айги получит Нобелевскую премию.

«В Москве после твоего отъезда мало с кем из художников можно словом перемолвиться», — обнадежил он меня.

Правда, в эпистолярном жанре чаще проявляются лучшие мысли и картинки быта, которые невозможно показать в прямой беседе.

Джинсы уже не просили, а покупали на толкучке. Мало того, звонили и предлагали то водку сибирской выделки, то говенный холст, то сломанный фотоаппарат. Встрепену-

лась моя родня и запросила «вызовы» во Францию. В Америке объявился некий господин Агафонов, обозвавший меня «мессершмитом»: «надеюсь, вы позволите так к вам адресовать?» — нет, не позволю, бля!

Один белорусский «совок», выдавший себя за непризнанного архитектора, с подлой подачи Коли Павловского надолго поселился у меня в мастерской. В мое отсутствие он прожил в ней три месяца (1989) и оставил оскорбительную записку:

«Уважаемый хуежник! Приезжай в Чикаго, я с тебя там возьму за постой 400 долларов! Протосевич Александр».

Беглый архитектор был возмущен моей просьбой подмести помещение и оплатить счет за телефон.

Уголок святой Руси!..

Подкралось время, когда меня обозвали «господином».

«Уважаемый господин Воробьев!»

Так сочинитель каталога «Другое искусство», Ирина Григорьевна Алпатова, просила у меня биографические данные.

Моя биография состоит из одной строчки — родился (1938) и уехал (1975). Перечислять многочисленные выставки считаю занятием пустым, ненужным и оскорбительным для живописца. Мне попадались книжки с биографиями моих коллег, абсолютно фальшивые и, следовательно, лишенные научного интереса. Сейчас остановить поток лживой информации уже невозможно. Ученым придется пробираться через эту тенденцию выдумки, как через таежный бурелом. Устранить это явление особого развития русского искусства, попавшего в ложную политику коммерции, — дело будущего.

За места на «исторической» выставке Третьяковской галереи и в каталоге, выпущенном в 91-м году с большими пропусками и грубейшими ошибками под названием «Другое искусство», «светила» московского авангарда грызлись между собой, как мелкие хищники.

Шмон продолжался!..

* * *

У Бога есть имя — Иегова!..

Так считает мой друг детства и замечательный художник Василий Павлович Полевой, адепт особой религии, запрещенной в безбожной России. Из богемного мира его вытащили московская жена и семья. Супруга Юлия сумела втолковать непутевому мужу, что его декоративный дар вполне совместим с официозом искусства, а в подпольной шизофрении и разброде ничего не светит, кроме нищеты. Громить твердолобых «реалистов» Кремля гораздо удобнее в ресторане «союза художников», чем в грязном подвале Сухаревки.

Затем семья Полевых выкинула фортель, удививший «всю Москву». Они объявили себя украинскими самостийниками и сменили московскую квартирку на дом в городе Львове, с австрийской лепниной на потолке. Конечно, Львов — славный город Речи Посполитой, но давно стал глухой провинцией, откуда надо постоянно выбираться на заработки: то в «столицу», в Киев, то, опять же, в ту же Москву, а то и в Сибирь, на большую производственную халтуру. Несмотря на конкуренцию оформительских бригад, паре Полевых удавалось пробить выгодный заказ: то мозаики кожевенного завода, то фрески плавательного бассейна для донецких шахтеров.

Человеческая религия, верования всех народов мира давно и всерьез волновали воображение Васи Полевого. По московским и питерским подвалам он постоянно вел беседы на религиозные темы. От общепринятого греческого православия он перебрался к униатам, подчиненным римскому Папе, а оттуда — в библейское общество иеговистов. Их, «косивших от армии», — этот пункт вызывал особенную ярость Уголовного кодекса, — сразу сажали в психушку, а самых задиристых «свидетелей» прятали в лагеря. Адепты запрещенной церкви поголовно считались американскими шпионами. Васе Полевому, ставшему за-

метным проповедником Иеговы, пришлось паковать чемоданы и, по вызову американских «братьев», приземлиться в Южной Каролине в 1989 году.

Я постоянно получал от него «писульки», открытки и письма. Из Львова он писал:

«Когда я был самоучкой, искусство меня волновало, но неважно чувствовал себя в толпе так называемых профессионалов».

Я в «толпу профессионалов» так и не попал и чувство к ним не пылает, забот полный рот, и мозги раком.

«Хочешь или не хочешь, ищи дорожку к сердцу простого человека и старайся, чтобы твое искусство было более гуманитарным, а это не так уж и плохо. Таким искусство было всегда».

Вася, это очень скользкая дорожка, ведь простой человек не покупает искусство, а покупатели давно потеряли дорожку к сердцу простого человека.

«На севере Тюменской области я два года делал монументальные росписи. Кроме того, сделал одну книгу для детей с цветными картинками. В промежутках рисую для себя, подтянув ремень».

Спокойный, поучительный тон Полевого напоминал мне поучение В.А. Фаворского, тоже «народного художника»: фрески, театр, книжки, мозаики. Может быть, он стал иным за океаном?

Где расположен Гринвиль? Да чего там Гринвиль, где вообще находится штат Южная Каролина?

Года два-три Вася Полевой пропадал. Свидетель Иеговы сражался с властями Львова за право эмигрировать в Америку. Жизнь в католическом городе Украины была не легче, чем в православной Москве. За иеговистами велась погоня. Их узнавали по одежде. Если человек причесался и повязал галстук, значит — враг народа. Васю яростно шмонали, отбирая подрывную литературу под названием «Башня стражи», и вдруг в 1990 году я получаю от него открытки с видами Гринвиля. Вася с парой внуков на руках,

рядом жена Юлия и дочка Аня, белый дом и огромный автомобиль. Многоцветная мозаика в собрании свидетелей Иеговы.

И правда, на восточном побережье Атлантики есть такая земля Южная Каролина, порт Чарльстон, столица Колумбия, и город Васи — Гринвиль, километров пятьсот от Вашингтона.

Вася Полевой нашел свою обетованную землю. Я с благодарностью послал ему книжку Григория Сковороды, его любимого философа восемнадцатого века.

Через неделю ко мне на седьмой этаж поднялась пара агитаторов Иеговы. Разговор о Боге и Библии. По-моему, любой свидетель обязан доносить, а на Брянщине доносчик получает первый кнут. Возможно, у Бога имя – Иегова, но тут мне с Васей не по пути.

* * *

Михаил Яковлевич Гробман — человек московский, литературный, поэт, издатель, библиофил. В конце 70-х в Израиле он издавал рукописную газету «Левиафан». Можно без конца спорить: нужны ли человечеству такие рукописные, очень личные листки? Меня же они забавляют. Я вижу там литературную игру издателя и сочинителя, интимную смесь духа и смеха. Позднее его журнал стал толстым и представительным, на меловой бумаге с множеством картинок, но сохранил семейное содержание.

В 1965-м, глядя на горящую свечу – мороз и снег, тьма и деревня! – я написал поэму в прозе. Ее прочитал Гробман и нашел во мне литературные способности. С тех пор я сочиняю для него стебные байки.

«Соскучился по твоим великолепным эпистолярным рассказам, – подбадривал меня он. – Лучше тебя писем никто не пишет».

От таких похвал волей-неволей возьмешься за перо вместо кисти.

«Мы вместе со всем Израилем очень любим твои литературные произведения, — пишет мне супруга Гробмана Ирка Врубель-Голубкина, постоянный редактор гробмановских изданий. — И сейчас в связи с тем, что я стала главным редактором журнала “Зеркало”, я надеюсь, что опять начнешь писать для меня».

Двести лет назад русский художник Иван Еремеев рисовал восставших парижан (1789). Я даю Гробману литературные наброски русских парижан, измываясь над бедными и богатыми как только можно.

О еврейском мазохизме много говорится и пишется. Когда Гробман заявляет, что он — еврейский гений, так оно и есть. Шизофрения налицо. В богатом огороде Гробман — вышибала и скупердяй с грубыми манерами. Да, Лев Толстой прав: надо копать ямы, тачать сапоги, смолить бочки и держать карман шире.

Бей своих, чтобы чужие боялись!

Да здравствует скупердяй Гробман!..

* * *

«Родился я в больнице Моисея Урицкого, в Ленинграде», — пишет мне «батько» Кузьма (К.К. Кузьминский) из Америки.

А я родился в больнице Моисея Володарского, в Брянске, а Брянск шире Ленинграда по площади, хотя в нем три оврага и четыре улицы без начала и конца.

Знаменитый деятель андеграунда «батько» Кузьма постоянно точит ножи на фон Нуссберга, оплатившего десятитомное издание русской поэзии. Зачем и за что они дерутся, никому не понятно.

«Поматрешенная и брошенная ольга махрова — тож рассказывала году в 85-м, что “борея” (борзой русского происхождения. — *В.В.*) он, Нуссберг, избил до полусмерти, отчего тот и помер».

Серьезные обвинения. За такое надо на дыбу и под кнут. А вдруг «борея» забила Махрова? Тоже может быть. У нее вид Салтычихи.

«В америке выпустил первый том в 600 стр (экономя при этом деньги издателя на фотках — а зря!) и за шесть лет грохнул еще 8 томов, по 700 и 900 стр каждый, и все это – на зарплату жены-уборщицы (в нью-йорке – чертежницы), я работал, а лев интриговал и торговал».

Какой-то сумбур вместо музыки. А где же деньги Льва, «интригана и торговца»?

«валя, все хлопотно и топотно: дюжина проектов-работ сразу, а в работницах – одна мышь, ничего не поспеваю и не справляюсь».

Мышь — супруга «батько», Эмма Кузьминична Подберезкина.

Я собирал очерк об А.Л. Хвостенко (поэт и бард Хвост).

«С хвостом меня связывает все и ничего. Хвост — вселенскость, соборность, я — в чистом виде анархия мать порядка».

«Батько» ответил полным романом о Хвосте (агрессивный мизантроп), и я надолго заткнулся, чтоб разобраться, кто прав, кто виноват.

«Ты же всегда так, то возникаешь, как истинный воробей, трепеща и вереща, то затыкаешься – на полгода, на год».

Гробман печатал «батько» неохотно, а то его и вовсе отвергал. Такого афронта «батько» не терпел. Роскошная родная речь, особый склад письма. Строчит как из пулемета.

«Учитесь читать: я лишь комментирую чужое творчество».

В 1984 году В.Г. Вейсбергу Кремль отказал в поездке на его собственный вернисаж в Париже, а в 88-м, в перестройку, выпускали всех тунеядцев и маргиналов Совдепии. По приглашению галереи «Гариг Басмаджан» приехала художница Ирина Вышеславская, с таким высокомерным

лицом русской барыни, что люди боялись к ней подступиться. Знаменитая красавица 60-х сводила с ума питерских молодцов. Один повесился, другой вплавь сбежал в Америку. За тридцать лет красавица располнела и пожухла, но барские повадки остались. Рисуя батальную картину в подвале галереи, она мне сказала: «познакомь меня со всеми». Многозначительную и наглую просьбу я оставил без внимания, однако киевская барыня посылала мне письма самого возвышенного содержания. Роскошные открытки ручной работы, где изображались ангелы, усыпанные золотой крупой.

«Дорогой Валечка Воробей! Что-то тебя не слышно? Поздравляю от всей души с новым Тысячелетием и желаю, чтобы оно было удачней предыдущего. Целую, Ирина. Мой адрес в Антибах».

На обороте открытки — великолепный рисунок летящего ангела со свечой.

Антибы меня не удивили. Барыня вышла замуж за французского пилота арабских кораблей и осела на Лазурном берегу.

Чем же поделиться с друзьями?

«Я не думаю, что в Совдепии так мрачно, как малюют в газетах, — графоманил я Лене Талочкину. — В Париже слоняются сотни русских туристов. Люди сытые, хорошо и тепло одетые, зубастые и хамоватые в повадках. Им очень далеко до африканской нищеты. Конечно, много пошлости и невежества в лицах, но они так долго жили в отрыве от живого и грозного мира, что порядочно одичали. Ведь их учили, что русские изобрели огонь, алфавит, телефон, трактор, спутник, луну, а такой патриотизм долго держится. У русских историческая ненависть к Западу, но это постепенно пройдет».

Ответ от Талочкина я не получил. Леня Талочкин умер.

3. Шмотки

Я до посинения купался в быстрой речке Байон, проклиная жару, мистраль и собачий помет на берегу. Обсохнув, я рисовал акварелью кусты и оранжевые пригорки, пытаясь понять кудесника Сезанна, моего великого соседа. Кисти мыл в проточной воде и бумагу сушил на раскаленных от зноя камнях.

В этом провансальском раю тещи я отвоевал себе три полезных занятия: косить траву на лужайке, забирать почту из ящика, висевшего на развилке двух дорог, и выносить помойку. Много писали тестю и очень редко — мне. Мне пересылала письма из Парижа консьержка, забубенная пьянчужка и работяга одновременно.

С тещей и тестем я дружил. Политические и литературные темы составляли основу наших бесед. Если приходили знатоки иных предметов, как киношник Андре Саррю, то разговор касался советского кино и его величайших достижений, поражавших французского профессионала. Соседи Батлеры добавляли эстетические разговоры, а Ксения Михайловна Батлер вспоминала Россию двадцатых годов: поезда, забитые мешочниками, адмирал Колчак, японские агрессоры, шайки казаков и китайцев и американские спасители.

В конце августа я выгреб из почтового ящика письмо моего московского друга, художника Эдуарда Штейнберга. На ходу я раскрыл серый конверт, прочитал и расхохотался. Причину моего оглушительного веселья пыталась выяснить теща, но передать содержание письма и объяснить образованной теще, что такое «шмотки», которые ломают коммунизм быстрее и основательнее, чем атомная война, было выше моих лингвистических способностей. Ведь шмотки — это русский Армагеддон, а он непереводим.

Французы, женщины и дети, старики и старухи, умеют красиво одеваться. Их научил большой пижон Луи Ка-

торз, а может быть, и Юлий Цезарь, никто не знает, откуда пошел вкус к модной одежде. Вот и теща тому образец. Она одевается, соблюдая персональный стиль. За ней тянутся тесть, дети и внуки. При мне ее внук Тео Шустер купил модные и дорогие ботинки и разбил их, играя в футбол. А за них надо неделю трудиться на заводе. Для людей менее требовательных существуют огромные развалы «скидок», где можно выбрать все что угодно с опозданием от моды на сутки. Если совсем нет денег, иди в «Секур Католик» — и там приоденешься, как франт.

Подойдем к вопросу с другой стороны. Ведь можно на месте, а не за тридевять земель, заказать у портного пальто?

Наверняка можно, но в Эфиопии, а не в России.

В старину простой народ обходился местными живописными шкурами и лаптями, чиновный люд шил одежду на заказ, как герой незабвенной повести Н.В. Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин у кривого закройщика Петровича. Господа бояре шили на заказ в Лондоне и Париже, самых цивилизованных городах человечества.

Писатель Евгений Замятин в романе «Мы» и с ним передовые художники советской эпохи предложили народу один покрой одежды без фантазий и разницы, зависти и кокетства: серые комбинезоны для строителей коммунизма, — но затея не прижилась. Буржуазный мир, как подколодная змея, заползал на стройки коммунизма и безнаказанно свил себе гнездо в самом Кремле. Оттуда началась подлая охота за купальниками и блузками буржуазной марки. Иногда их выбрасывали пролетариату, чтобы купить в порядке живой очереди.

Попробуй найди в России такого портного, как Петрович Гоголя или моя мать из Брянска, их уже нет. Есть модный закройщик Слава Зайцев, но к нему стоят такие денежные кошельки, что не приснятся во сне.

Вот если ваш знакомый уехал в капиталистический рай шмотья, то почему бы его не потрясти: авось откликнется и вышлет пару колготок?

За тридцать лет недостатков ко мне поступили просьбы решительно всех слоев населения, от старых большевиков, потерявших зрение в Гражданской войне, до учащихся начальных и высших школ, деятелей искусства, сторожей и шлюх.

И всех я старался одарить, если не полностью, то частично.

Ни царь, ни коммунисты, ни капиталисты не смогли решить проблему шмоток в России. Возводили и раздвигали державу, строили броненосцы и миноносцы — какие там, к черту, пиджаки и купальники! До сих пор совершенные космические ракеты возят на космодром на крестьянских телегах десятого века.

Как ни крутись, а шмотки победили коммунизм.

Привожу поэтическое письмо Э.А. Штейнберга полностью, для знакомства с настоящим губителем коммунизма.

«1975. Дорогой Валька, старина, теперь к тебе и Анне просьба. Посылаю тебе размеры мои и Галины и что мне прислать. Правда, если это не дорого для тебя, а вот что мне достать там.

Эдик. 1. Джинсы. 2. Вельветовый костюм, можно синего, черного, темно-зеленого или коричневого цвета. 3. Ботинки теплые, зимние, 41-го размера.

Галя. 1. Бархатный или вельветовый брючный костюм в талию. Цвета как у меня. 2. Сумку черную, маленькую, через плечо, в размер тетрадочного листа. 3. Кофточку под костюм из батиста с длинным рукавом, белую, розовую или голубую из пыльцовой ткани.

Старина, если будешь посылать, то обратись к Володе Марамзину, он может это сделать через Ольгу Махрову (имя зачеркнуто. — *В.В.*). Я ее не знаю, но дружу с ее родителями. Вот моя к тебе просьба. Обязательно увидимся, и не раз. Твой Эд.

Расскажи о Париже, как ты его нашел. Галя тебя целует».

Письмо на двойном листке ученической тетрадки в клеточку.

Следует ли комментировать такую литературу?

Представьте себе, что кое-что из парижских нарядов я купил и добавил книжку особо ценимого в Москве Дюшана, рыболовные крючки, шведскую леску и клетчатую кепку рыбака.

Беспокоить друга просьбами я не стал. Здесь «всего навалом» и можно обойтись без русского льна и земляных красок.

Только хотелось кричать: о, яд хилам шатну мамаки!..

* * *

В Париже я донашивал длинный серый плащ, купленный в Брянске. По прошествии пяти месяцев «западной мечты» Лувр моих картин не покупал. Так называемый «русский кружок» — сброд немыслимой нищеты, подлости и скуки, включая титулованный, — я презирал. Зачумленные беженцы моего времени добавили в тусклое прозябание эмиграции свой ядовитый клоповник.

Меня атаковали не только Штейнберги.

«Валечка, при случае обязательно купи моей Настеньке джинсы 46 разм. Она ничего больше не просит, такая деликатная девочка, но я хочу ей сделать подарок, только тебя и можно об этом просить — со спекулянтами я не связываюсь. Еще купи и вышли, пожалуйста: 1. Алекс. Львовна Толстая "Дочь". 2. 5-томник собрания сочинений Константина Леонтьева. 3. В.Н. Агнивцев "Блистательный Санкт-Петербург". 4. С.М. Волконский "Мои воспоминания", 1923, Мюнхен. 5. Алекс. Львовна Толстая "Проблески во тьме", воспоминания. 6. Ариадна Тыркова-Вильямс "На путях к свободе", восп. 7. Мих. Осоргин "Свидетели истории", роман, 1932. 8. Г. Федотов "Лицо России" обл. издание, Париж. 9. Суворин "Воспоминания".

Все о Пушкине, что попадется.

Скоро день твоего рождения — поздравляю!

На днях иду на балет из Парижа».

Кто это корчит из себя пушкиниста?

Когда-то студентка по имени Ритка Самсонова угостила меня чаем с булкой, и с тех пор она считала, что я ей во всем должен. Раз так, я высылаю пару книжек «Библиотеки поэта», достать которые в Москве невозможно, а в Париже те же Мандельштам и Ахматова доступны по 25 франков за штуку. На черном рынке Москвы они идут по 100—120 рублей — месячное жалованье учителя, и безработной Самсоновой не надо ссориться на шмоне. Ну, Пушкина вышлю при случае, а вот «областного» Федотова и Волконского, да еще 23-го года, — не жди, жадная и шальная сука! Хватит, расплатился за чай и булку!..

За ней поспешала подруга подвальных дней Ольга Анатольевна Серебряная. Она не отличалась особым литературным воображением и твердила один и тот же сюжет шмоток.

«У меня есть просьба: пришли мне, пожалуйста, очки с дымчатыми стеклами, я стала страдать повышенным давлением, а это отражается на глазах. Французское платье — диагональные синие полосы — самый раз, а вот итальянское коротковато: я понимаю, что такая мода, но ведь мне будет в августе 44 (письмо от 84-го года. — *В.В.*), значит, верх подходит, а низ коротковат».

Пить надо уметь, нахалка, тогда и дымчатые очки не нужны.

«А еще прислал бы мне купальник, да пару трусов, юбку, на размер меньше той, в которой я утонула, и платье в стиле “тоска по деревне”, длинное в талию. Туфли мне пришлись в самую пору, большое спасибо».

Хорошо, допустим, я дурак, попавший в царство шмоток и антисоветчины, но где взять деньги на очки и юбку, если картин не покупает Лувр?

Мура Будберг привозила Пастернаку поношенный галстук Максима Горького, и поэт был в полном восторге, а этим зубастым акулам подавай весь парижский антиквариат и юбку в талию.

Бориса Мышкова я не искал, он сам пришел. Я не знаю, как бессарабский цыган с дипломом винодела очутился в моем подвале, но, однажды затесавшись, он уже не выходил из него.

«Рисуйте, Валя, а я сбегаю за пивом» стало его коронным номером.

Маленький, черноволосый и шустрый, как пескарь. Он бегал за хлебом и пивом, сдавал пустые бутылки и тихо сидел в темном углу, дожидаясь приказа. Прилип и стал необходим.

Я уехал в Париж, а он остался, присосался к подвалу, как клоп к человеку. Он стал моим сторожем, корреспондентом и потребителем заграничных вещиц. За нелегальные московские новости приходилось расплачиваться.

Чтобы не быть голословным, привожу примеры его писем.

«Валя, вот что мне нужно. Машинка холсты крепить и запас хороших скоб. Джинсовая куртка 46 разм. Люське платьице “красивенькое”, но не девчоночье и не “хипповое”, 45 разм. Может, и длинное. Окружность зада 100 см, талия 85—88, плечи 45.

Тушь английская в палочках теплого оттенка, раз нельзя жидкую или раскрошенную.

Хокусая — на коленках — Хокусая!

Наташка Шмель полтора года вызволяла Яковлева из психушки, куда засадила его сестра, угробившая и отца после матери. Она теперь в 4-комн. кв. одна.

У Немухина была склока с Кандауровым, которого он из группы выпер. Потом склока с Калининым, который тоже вышел из группы.

Я уже много лет сплю на твердой доске из толстой фанеры. Жена и дочь тоже».

Спи, Боря, спи на фанере, но Хокусая и на коленках не получишь, нет его в Париже! Английской туши с теплым оттенком тоже нет! Одежда не тебе, а нищим!

«23 декабря 1978 г.

Умер Пятницкий – гениальный художник, – доносит Боря, – выжрал гадость, пока его баба бегала в магазин. Умерла и Эльская в ночь после вечеринки у Люды Кузнецовой (коллекционер увозит 80 работ). Вроде дело мужа, разорвал жене печень и сломал ребро вроде он. Говорят, хорошо пили. Молодой, здоровенный парень. Спасатель. На похоронах рыдал.

Если разрешишь, то я отдам Штейнбергу штук пять его рисунков — он не знает, что их у тебя около 30».

Не разрешаю! Потому что на языке Мышкова «отдать» значит продать, но денег за рисунки я никогда не получил, Мышков их прикарманил.

«В папке остается: Яковлева 1 масло и 5 гуашей. 3 гуаши Вулоха, 7 ворошиловских, 1 рисунок Леонова, “зверей” 8 рисунков на синей бумаге и 2 фломастера — все портреты Воробья».

Подлец Мышков, а где же девять масел Яковлева?

Как тут не воскликнуть: о, баба кама кодашим!..

* * *

Продолжал писать Эдик Штейнберг.

«Спасибо тебе за трогательные подарки — я в кепке выгляжу потрясающе — один француз это заметил, замечательные кружки и леска. Я поймаю на них леща — это очень было нужно. Спасибо, старина, поверь, был тронут до слез».

И далее что-то о Боге, о Чаадаеве, о знакомом поэте Терновском — «он был всегда без штанов, а изображал короля»; и оптимистическая концовка: «не умрем, значит, встретимся».

10 января 1976-го умерла его мать, Валентина Георгиевна, которую я знал, любил и ценил, и – «добрый Серафим Саровский молится за нее», заключал Эдик.

Я писал ему о засилье коммунистов в официозе Франции. Эдик меня поправлял: «Этот мир принадлежит не коммунистам, а Господу, и только ему».

Для меня были необычными «божественные» рассуждения художника, но по всему было видно, что в этом декоре он уверенно себя чувствует, несмотря на шепот супруги: «попроси Вальку, пусть вышлет мне вельветовый костюмчик, там их навалом».

В 77-м ему сравнялось сорок.

«Я самый богатый художник Москвы — все картины, а их около пятисот, находятся при мне, а в кармане пустота». И опять о Боге. «Наше время — богооставленное время».

Эдик сообщал мне о кончинах своего тестя и моего бывшего учителя кино Жози Маневича, Алексея Паустовского и жены Мишки Одноралова.

В 1978-м Москву покинул видный дипартист Оскар Рабин с семьей.

«Как там нео-экспрессионист Оскар Рабин — так его называют, и вот великий комбинатор в Париже. Здесь-то он был нонконформист и самый главный лидер — вот смеху и глупости!»

На приглашение в Париж, организованное мною, Эдик получил отказ, лукаво спрятав гнев за благочестием, усыплявшим почтовую цензуру. Я знал, что он не церковный человек и вряд ли выучил «Отче наш» наизусть, но этакий религиозный восторг стал поветрием московской интеллигенции с наставниками, отцами Дудко, Якуниным, Менем, где толкались и Эд с Галей.

Тут я буду придирчив к другу. Ну я никак не могу его представить рядом с Богом. Врожденный гуляка и пьяница. Потом мне донес галерейщик Басмаджан, что на чердаке у Ильи Кабакова бродячий философ обучает художников

духовной жизни и ставшему очень модным «фаворскому свету».

«Возьми Поля Сезанна; его творение — это подлинные храмовые симфонии, это подготовка смерти к воскрешению», — поучал меня Штейнберг.

Перерыв в переписке с 80-го по 83-й — новогодние без текста не в счет — объяснялся испугом. Галю Маневич таскали на допрос в «органы» по поводу журнала «А-Я», куда она сочиняла невинные статейки с упоминанием художников эмиграции.

«Мой тебе совет, — писал Эдик в 84-м году, — из любви говорю, не лезь никуда ни в коем случае. Как бы тебе трудно ни было, кто бы тебя ни обидел — не лезь и, правда, больше получишь потом.

8 августа умер Акимыч на реке, прямо в лодке. Смерть — это, видимо, единственная реальность. В прошлом году умер Николай Давыдович, а в этом — Елена Михайловна Голышева. Царство им небесное».

Эти покойники что-то значили в моей жизни, и Эд знал, о чем писать.

«Мне 47, и я в первый раз вижу на грандиозной выставке “Москва—Париж” великих Кандинского, Малевича и Любу Попову, тобой и Снегуром реставрированную и проданную Костаки — он теперь Жорж! — ха-ха-ха! Не чудо ли это? Воистину чудо!»

«“Черный квадрат” — это реальность уничтожаемого времени», — заметил Штейнберг, заключая договор с «легендарным Бернаром», галерейщиком, пригласившим его в Париж.

Продолжал писать и я.

«Твои письма читаем, как Библию в катакомбах. Читал твое письмо Кабакову и Голышеву, и мы крепко выпили за твое здоровье, за путешествующего Вальку Воробьева».

Ох, эта Москва!..

Год — 1985.

Вот и настал звездный час русского народа и год чудес для Штейнберга. Никому не известные агитаторы собирали огромные народные митинги. Народ заговорил, не оглядываясь по сторонам, во весь голос. От долгой спячки проснулись издатели и писатели. Самые проворные молодые люди загребали миллионы, а запрещенное в один миг стало старым и ненужным. В горячую Россию потянулись авантюристы и разведчики. Из России вместо осторожных столичных туристов хлынули шахтеры и техники народной глубинки, маргиналы и тунеядцы артистического андеграунда, готовые ночевать на вокзале или под мостом. Содержание жизни менялось на глазах. Тон моей переписки стал иным.

«Перемещение разрешено», как говорил эмигрант Саша Леонов.

Солнечной весной 88-го в Париж спустились Эдик и Галя Штейнберги. Витрины модного города сверкали и зазывали изобилием товарной роскоши, однако мои друзья выбрали самую мутную витрину супермаркета, где всего полно, от гвоздей до штанов и еды. Почему люди с честно заработанными средствами закупают шмотки в магазине африканской бедноты, куда порядочный француз не заглядывает?

Лесть — слаще пряника.

В «колхозном» журнале М.Я. Гробмана я написал отнюдь не льстивый очерк о моей дружбе с Эдиком. В 89-м я получил от него письмо, написанное красным карандашом в тарусской бане.

«Если твой опус — роман, то тогда все в порядке, читается с интересом, если нет, то это злостная выдумка».

Отвечать я не стал, надоело, да он и видел наше прошлое иначе.

Кармамуда бабья гата!..

4. Отборный письмовник

Антон Павлович Чехов писал: «Истинный талант всегда сидит в потемках».

Московский архивариус Леонид Прохорович Талочкин «в потемках» сидел не всегда, а лет тридцать, затем его вытащили из подпольной тьмы на яркий музейный свет. Его переписка со мной с 1975-го по 2002-й (год его смерти) — потрясающий документ катакомбной эпохи. Содержание его писем — настоящий информативный свод, необходимый не только мне, но и всем любителям изящных искусств. Оригиналы его писем (120 штук) я передал музею его имени в Москве, кое-что скопировал, и звучит это так:

«Париж давно потерял значение в качестве центра мирового изобразительного искусства. Теперь это "Мекка" неудачников, которые стекаются туда толпами со всех концов земли, помня о былом величии этого места, либо не понимая, что звезда "Монмартра" давно закатилась, либо надеясь, что с их прибытием она непременно взойдет над горизонтом. В Париже в настоящее время нет ни одной галереи, которая могла бы конкурировать по престижности с любой второразрядной галереей в Нью-Йорке. Я уже не говорю о таких, как "Лео Кастелли", "Мери Бун", "Шафрази", "Рональд Фельдман" и еще с десяток, которые делают политику мирового искусства».

Ставлю пять с крестом!

Как все обстоятельно и точно, а ведь Леня не видел ни Монмартра, ни Кастелли.

«Немухин рисует мало, а может, и вообще не рисует», — таких протокольных сообщений Талочкин давал сотни.

Из Москвы приходили и записки высокого напряжения, призывающие к решительной драке. Вот гравюра Дмитрия Плавинского, видного московского художника, (1976), с боевой надписью: «Старик, желаю пробить башкой арку звезды и натянуть спесивым франкам берет на их кривые, заросшие полипами носы!»

Лихо сказано, ничего не скажешь.

Юрий Васильевич Титов, живая легенда московского андеграунда...

1962 год, Звездный бульвар, чернобородый Алексей Быстренин и абстракции, погоня за непокорными и храбрый протест Юрия Титова.

Однажды Титов поднялся ко мне на парижский чердак с мешком рукописных материалов, около трех тысяч страниц. Я выбрал «мистический корабль» — его строительный проект, похожий на памятник советским космонавтам, как образец его творческого мышления и старческой немощи.

Самоубийство взбалмошной жены Елены Строевой (1976) основательно подкосило психику артиста. Он ходил голым по Парижу, спал под открытым небом и питался с помоек. Его не раз ловила полиция в таком виде и доставляла в русскую богадельню, где охотно принимали, обмывали, одевали. Когда его отпускали «на волю» повидать знакомых, Титов обходил их по-московски, без предупреждения, стуком в дверь. Не зная телефонных номеров и дверных кодов, он брел наобум и чаще всего нарывался на запертые двери. Моя суровая чернокожая консьержка, не любившая двигаться, все-таки доставила старика к моим дверям, чтобы удостовериться, куда рвется чудной уличный клошар. На дверях я обнаружил записку, мне адресованную: «Воробей, необходимо лезть во все дырки и ничем не брезговать, такова должна быть наша повседневная тактика. Оставим в стороне глобальные проблемы, надо лизать жопу повседневной жизни, твой друг Титов».

Постоянно смешилась Надя Сдельникова, нахлебница шведской короны.

«В черной кофте с бисером я стояла с писарем, на черный зонтик оперясь, а сказала, отдалась».

Кто сказал, что Швеция умирает со скуки?

Разносчик газет и продавец конфет Ленька Милруд сочиняет кино, намереваясь покорить Голливуд, клевещет на демократию и много путешествует по всем странам мира. Вот его рапорт о нью-йоркской жизни.

«Бахчанян в депрессии», «Соханевич охуел от мании величия», «Лимошка жопник служит камердинером», «сержант Стукман снимает у меня нары», «Вася Ситников сгибается в трущобах на корню», «скульптор Неизвестный стал заносчивым богатеем», «Комар и Меламид ебут натурщиц», «сейчас получаю продуктовые карточки от государства по 65 долларов в месяц».

Это выдержки из восьми писем гражданина США.

Письма Бориса Мышкова, добровольного хранителя моих московских сокровищ, — яркий образец вялотекущей шизофрении и хитрости.

«Президента Франции видел! — Здоровался? — Нет! — Стесина видел? — Видел! — Здоровался? — Да! — Пашку Радзиевского видел? — Видел!» И т.д.

За эпистолярным юродством всегда низменные планы хапнуть побольше, заработать на мне, но одну темную фразу я не раскрыл.

В начале 80-х весь русский Париж задавал себе вопрос, на чьи средства издается убыточный иллюстрированный журнал «А-Я».

«Большую часть денег дал не русский, а швейцарский коммерсант и коллекционер. Имя его пока разглашению не подлежит».

Мышков действительно что-то знал и набивал себе цену или передал мне чужие слова.

Замечательные ученые наказы живописца М.А. Кулакова.

«Главное — контроль над потоком сознания в каждом шаге твоего бытия, будь то самые прозаические действия или поступки. Внутри ты должен воспитывать себя в свободе от власти феномена, от власти всех сантиментов и желаний, которые нас, людей, как разгневанные гарпии,

преследуют на протяжении жизни. Если ты будешь видеть причины неустройства мира и твоего бытия только вовне, ты никогда не получишь озарения и, стало быть, и новых энергий, которые питают наше желание к творчеству».

Миша, какое там «озарение», если ежедневно наступают на мозоль и просят взаймы! А вот «разгневанные гарпии» были и есть, угрожают стереть в порошок. Миша, я копаю ямы, сажаю деревья, обрезаю розы, рублю дрова — и никакого «озарения».

«Италия – родина и культура моего детства, к которому я вернулся, как Одиссей к Пенелопе».

Миша, красиво сказано, завидую твоей Пенелопе. Культура моего детства – аборигены Австралии, но туда еще не вернулся и, очевидно, никогда не вернусь.

«Целыми днями и ночами я сижу и сочиняю письма. А когда же за крупой бегать на базар, варить жратву, мыть посуду, картины писать и когда спать?» — жалуется Васька-Фонарщик из австрийской деревни Китцбюль (1977).

Микроскопическая вязь письма, экономно расположенные фразы, стиль, разработанный «зэками» всех стран и народов, не разбалованных бумагой и чернилами.

«Я люблююююю ветры!

Письмо сестры я послал ей обратно в Москву, но между ее строчек исписал красными чернилами, коротко отвечая по ходу ее текста. По-видимому, для цензоров это показалось загадочным, и мое авиаписьмо шло до сестры около месяца, но я очень рад, что она все ж таки его получила».

«Ебаная хваленая Америка, – пишет В.Я.С. в 1981 г. — В магазине пинцет из сплава чугуна и алюминия штампованный – срам смотреть! — 5–7 долляриков. Это мне на два дня прокормит.

Шас мне дают пенсию триста долларов, из них сто семьдесят за квартиру, тридцать газ и электричество и десятка телехвон. Остается на харчи девяносто, и добавили ищо на еду талоны по два доллара. Выходит по пять в

день. Хожу я только пешком хотя и по 20 км, экономя на пище, и подкупаю то ржавое сверло, то изувеченную стамеску, то сломанные клещи или негодный топор, брусок или дрейль!»

Это русский художник в Америке Рейгана.

А вот и очень выразительный «привет» от А.Т. Зверева 1983 года.

«Следовательно привет от всех
Привет от Мышкова и т.д.
От Михайлова и Левы
Привет от Сосновского и реалистов
Привет от старухи

Скоро напишу побольше, а сейчас нахожусь в положении переезда, ибо весна в самом разгаре, и я спешу в писательскую деревню со старухой. Приезжай — выпьем — АЗ 83 — может быть — если что. Все страдают от непогоды – жара. С благодарностью привет!»

Каждая почеркушка моего друга — графический шедевр. Такие хранят, с ними постоянно живут. Чрезвычайная осторожность Зверева в выборе слов – исторический страх вытрезвителя, где люди гибнут как мухи! «Старуха» – вдова поэта Асеева с дачей в деревне Перхушково. Под «реалистами» имеются в виду алкаши из проезда Художественного театра.

Своими письмами я его не пугал, а расспрашивал других о его жизни. Справочной книжкой были Мышков, Михайлов, Сосновский. Последние годы своей суетливой жизни (умер в 86-м) Зверев постоянно работал в общине оперного певца Михайлова на Арбате, где сделал тысячи акварелей и рисунков. Дача «старухи» Асеевой была отдушиной, где можно было очухаться от пьяной жизни в Москве.

Письма военного писателя Ивана Абрамова составляют солидный свод расчетливых соображений.

«Под тем дубом, где я родился, не был уже три года. Когда-то ставили мы там шалаш и летовали вместе по восемь и больше человек».

Этот дуб помню и я. «Летовал» в 58-м с братом и дядей. Забавно жить в шалаше, вспоминался Робинзон Крузо, по вечерам слушали «Би-би-си» и втроем сочиняли фальшивые военные романы. Там мне повстречался суровый лесник с мешком махорки. Он по-немецки сказал «зер гут» и отсыпал мне стакан табаку. Судя по морде, лесник отсидел лет пятнадцать в советской тюрьме: когда-то в селе Верхополье стоял отряд русских «власовцев», отбиваясь от наседавшей Красной Армии.

«Насчет генеалогических дерев. Ну их. Например, двоюродных братьев и сестер у меня более полусотни, но никого я уже не видел лет сорок-пятьдесят», — пишет дядя.

В Брянске, в Норильске, в Харькове, в Москве, за границей — как их повидать? И опасно, и не стоит нарываться на грубость советской власти. Губонины и Абрамовы смирно жили на дне пролетарского государства, не высовывая носа.

«Я вот теперь не просто фу-фу, а казачий войсковой старшина, председатель местного Совета стариков», — удивлял меня дядя.

Оказалось, что по материнской линии у нас есть не только кордонники, но и казаки.

Письма героя черноморского бегства в Турцию Олега Соханевича, или Саха, отличались лаконизмом хамоватого начальника строительного участка.

«Привет, Воробей! Как ты там? Не разбазаривай маленькие эскизы — если что — снимай копию, чтоб не пропадала идея (картину писать потом). ОК.

Если ты в Париже, постарайся — дозвонись (деликатно!) до Ольги или Сони Платоновой — скажи, чтоб отбросила название стиха. Поминки — это важно! — лучше без заголовка».

«Скажи», «дозвонись», «сделай» — основной словесный запас американского скульптора. Правда, никто его не брал в расчет, слова оставались только словами без осуществления.

* * *

В 1976 году сибиряк с голубыми, светлыми, как Байкал, глазками с прищуром, Вальтер Некрасов занял в американском банке деньги и купил дом в Бруклине, в черном, бандитском квартале на слом. Хорошо одетым людям выходить там не рекомендовалось: разденут и зарежут по дороге в метро. В одно прекрасное время домовладелец повысил аренду за жилье, неимущие откочевали за окружную дорогу, квартал посветлел, и Некрасов стал миллионером. Перед тем как продать землю, он заселил дом на слом русскими беженцами высокого напряжения: поэт Генрих Худяков, скульптор Олег Соханевич, издатель Костя Кузьминский, учитель рисования Василий Ситников.

Зачитывая мои письма за общим столом, Ситников выдавал меня за «мессершмита» русской культуры. Хозяин Некрасов попросил разрешения написать мне письмо. Нью-йоркский миллионер писал очень красивым, просторным росчерком, с приложением рисунков и фотографий своего творчества. «Триумф материнства» — хороший, декоративный стиль. По тону писем я определил, что сибиряк желает высказаться — «как жизнь моя слагается», сказать что-то сокровенное — «видит сон моя собака... будто ем я колбасу... будто еду в телеге в березовом лесу... будто еду я в Нью-Йорке... вдоль по Пятой авеню». И нечто ностальгическое: «три года я жил на Курском вокзале в Москве», «прилетели ко мне три ангела из России и поздравили с Рождеством и Новым Годом. Встреча произошла прямо в городе. Этот момент я запечатлел на большом холсте, фотографию которого и прилагаю, хотя в последнее время я разочаровался в себе».

Этакий путеводитель по русскому небу. Господин Некрасов лет пять пугал меня концом света и величием особой красоты. Я осторожно отвечал, вздыхая от человеческой слабости.

«Читаю сонеты Того Таинственного, который скрылся за именем Шекспира. Изумлению и восхищению моему нет предела. Точно и неожиданно искренне — поэзия! Мне даже кажется, что он писал свои стихи у меня на крыше, за перегородкой, высокий, худой, темноволосый, небритый, неизлечимо больной, — и писал только для меня — вот как достал мою душу, четыреста лет назад».

Сгорая от стыда и невежества, я что-то мямлил в переводах Маршака: «Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой».

Располагая значительными средствами, Некрасов обеспечил себе персональную выставку в Мраморном дворце Санкт-Петербурга, но русская критика замолчала его творчество. Обидно и возмутительно, но ведь сибиряк знал, куда шел. Ошибочная вылазка опытного дельца, сибирского кулака мертвой хватки меня несколько охладила. Сквозь сонеты Шекспира явилось незамысловатое честолюбие неудачника.

Вскорости к Некрасову присоединился поэт Генрих Худяков.

Он творил на нью-йоркской крыше вместо самого Шекспира.

«Викинг» благородных пропорций. В Москве он был завсегдатаем моего подвала. Соратник Холина и Сапгира, что вы еще хотите? Жил он одиноко, без семьи, и тянулся в шумное общество. Приходил не один, а с дамами, и раз привел известную Стивенсониху, никогда меня не посещавшую. Приходил с туго набитым портфелем, извлекал школьную тетрадку, покрытую мелким и разборчивым почерком, и читал стихи Шекспира, выправляя их по ходу и добавляя свое. Потом перешел на «Гамлета» (1972), перевел с английского и перекрестил на «Лаэртида».

«Офелия, под присмотром своих слуг забравшаяся на дерево, конечно, могла с него свалиться, но уж никак не утонуть».

Учтивый каламбурист, дадаист русской закваски перед отъездом на Запад (через Вену, конечно!) превратил мой подвал в сплошную «еврейскую вечеринку» с постоянной темой: «вызов получил», «багаж упаковал», «поправку Джексона читал», «бутылки сдал Милруд», «завтра у меня проводы». Потом незаметно исчез на американском дне, подметая офисы и улицы.

Отличное место для поэта. Это тебе не рубить дрова в Сибири!

Его самобытные стихи полюбили математик Виктор Тупицын, декоратор Вальтер Некрасов, издатель Костя Кузьминский. На этом публичные признания кончились.

Меня Генрих Худяков порадовал рядом посланий с приложением поэтических рисунков.

«Пишу лежа, как какой-нибудь из великих. Моя янтарная комната 2, потом “золотой грот”, теперь (финито!) стала мини “Сикстинская капелла” — точно произнес? Заодно и прибавилось несколько небольших новых работ + нежелание подобным еще заниматься! На 100 процентов творчество в пустыне».

«Уважаемые работники газеты “Нов. Русск. Слово”!

Захотелось написать вам на предмет обращения к вашим дорогим читателям с небольшой самодеятельной литературной викториной.

Вопрос. Знают ли интересующиеся читатели, что в программном стихотворении А.С. Пушкина “Памятник” допущена грубейшая смысловая ошибка, сводящая на нет все знаменитое стихотворение?

Александрийские столпы во времена оные находятся в г. Александрии глубоко под водой, да и к тому же в горизонтальном положении. Произносим Александровский сад, а не Александрийский, по той же причине есть и другие примеры».

Худяков – сутяга или гениалиссимус, как он себя называет?

Большой знаток английского, автор «Лаэртида» так и не стал американским поэтом.

Кипучий, как самовар, Костя Кузьминский терзал меня архивными темами: «Ситников», «Шемякин», «Хвост», «Нуссберг».

«Мишуля (М.М. Шемякин. — *В.В.*) отловил дину в москве, убедил поехать в питер. дина тогда (помнится, в 70-м. — *В.В.*) была вполне вдувабельна (как выражается димочка тарасенков), при ста килограммах жира в ней было столько еще огня, что, похоже, не пропустила ни мишани, ни есаула, я бы лично — лег, но мадам не предлагала.

Провожал шемякина я с кабаковым. 1971. Были и “подруга мишули”, поэт лен и сергей усик с собакой.

Ночами думаю за материалы о васе — куда их? И воробьева надо печатать без купюр, на всяком случае я так буду».

О собирателе А.Д. Глезере.

«Не заткнешь ведь его, и все знают, что сука, — по всему пространству расейскому и (увы!) “мировому”, — и снова все дают, дарят ему картиночки, играют с ним в музейчики, сейчас вот очередную партию лохов-художничков завез — спят на газетках, моются у семейного друга.

хер гнусберг (Лев Нуссберг. — *В.В.*) — молчит и на повторное послание (тоже — “не получил”?) требовал весь ящик материалов взад (где каждая страница расписана комментариями мне), а теперь подождет, когда я на все поставлю свои руки... жалеть его неча: что посеял — то и пожнет».

«Батько» Кузьма толкал меня в прогресс современности, на компьютерную связь: «она экономит кучу средств и времени» — и одарил «мейл-артом»: нимфы в парной бане Пенсильвании, лесные заросли, хорошие соседи. Так жить можно.

* * *

Перешагнув второе тысячелетие, я свалился. Врачи определили грудную жабу, от которой умирают сразу, не причиняя хлопот окружающим.

Гуманист Виталий Казимирович Стацинский, владелец подворья в Париже, прислал мне открытку с картинкой личной работы.

«Старому дружку Воробью от Казимирыча. Раньше смерти не помрешь, а от нее ты не уйдешь, а ля Прутков. С Новым Годом».

Пишет прохвост, а мне приятно.

Прогрессивная семья: папа — важный коммунист, мама — член домкома, сестра — комсомолка, и сын — пионер. В такой семье вырос Стацинский. Меня он считал своим подчиненным служащим. Звонит мне из парижской психушки, где пробивает себе хорошую пенсию: «Воробей, срочно приходи ко мне в больницу и захвати булку с черносливом». Другой, самостоятельный и гордый мужик, послал бы наглеца куда подальше, а я покупаю сдобную булку и тащу ему в дурдом.

Мистика русских отношений. Если ты победил все буржуазные предрассудки, то приходи на берег Сены, строимся: ты, Казимирович, я.

Мой елецкий друг Василий Полевой, прекрасный декоратор и свидетель Иеговы, тащил меня к своему Богу.

«Не верь докторам. Питье свежей собственной мочи — это огромный стимул, очищает изнутри тело и превращает тебя в гиганта. Диета полным голодом и многодневный пост тоже помогают».

На такие решительные меры свидетеля Иеговы я не пошел и доверился врачам. Колоритный рецепт Полевого кому-то и подходит, но я не желаю быть «гигантом», мне бы стать на ноги и закончить картину.

Полевой продолжал: «Сегодня некоторые люди перестали верить в Бога. Надо твердо верить в Бога и терпели-

во ждать конца света, а он не за горами. Я непрестанно молюсь о том, чтобы любовь твоя все более и более изобиловала в точном знании и полном разумении».

Вася, не смущай друзей, но новогодний «привет» Полевого был роскошным — пять цветных и оригинальных литографий.

Рассматривая бесценный дар, я пытался представить опрятно одетого, всемогущего Бога Васи Полевого и всякий раз натыкался на бетонную стенку с криком: «гнать в шею без пособия» — апокалиптическое послание с угрозой набить морду, да и Содом и Гоморра не прекращались на пути к совершенному земному царству. Рецепты Иеговы отклонить!..

Инженер ружейного завода «Калашников» Владислав Янович Красновский, осев в Париже, сменил профессию. Он стал знатоком изящных искусств и моим постоянным справочным бюро. От него я знал, что за русскими иконами охотятся в Бордо, и цены на каких живописцев стремительно поднимают русские олигархи.

«Рохлина, она же Шлезингер — подруга Экстер, покончила с собой в 33 г. За последние пять лет цены на ее работы выросли в 4 раза».

Сообщение от 16 июля 2001 года.

Малограмотные русские олигархи в кратчайший срок, не в пятьдесят лет, а в пять, если не в четыре года, размазали Запад по стенке. Господин Вексельберг объявился в Москве с подарком в сто миллионов долларов. Не хочется сочинить панегирик, прославить русского олигарха на века. С космической быстротой олигархи освоили рынок искусства, подняв на русские имена – Айвазовский, Шишкин, Коровин, Григорьев, Краснопевцев, Шварцман, Зверев – головокружительные цены, оставив позади европейские знаменитости.

Веселая война цен и много патриотизма.

В.Я. Красновский, подступаясь к деньгам олигархов, спрашивал меня письменно:

«Кто такой Володя из окружения Нины Стивенс? Сейчас живет в Америке»; или «Знал ли ты художницу В.С. Видерман?»; или «Фальшивка Коган долго гуляла по аукционам до Лобрая и Текама, пока в конце концов не была продана с сертификатом маразматика Шовелена. Твой приятель Паша Армян интересовался: “А где же Валя Воробьев?” — Я отвечаю: “Устроился сторожем горы Сент-Виктуар”. — “Надо же, наверняка по блату!”»

Я не сторожил, а полз на четвереньках в могилу, а Вовик Толстый, «живой артист» и постоянный парижский собутыльник, писал:

«Дорогой Валя, мне без тебя скучно: ни попиздеть в удовольствие, ни выпить портвейну, ни дотронуться до родной и близкой души».

И я, в свою очередь, отправлял мелкие почтовые открытки с рисунками.

«Валя, получил твою ромбовидную, в духе Аполлинера или Бретона эпистолу. Нынче на хороших аукционах такие идут по 800 евро за штуку.

“Адмирал” донес, что ты уже освоил Виндоус и Уорд».

«Адмирал» правильно донес, я усвоил письмо на компьютере, и рукописная связь вскорости прекратилась. Писем я больше не получал. Эпистолярный жанр кончился.

Часть третья

ОСОБЫЕ ЛЮДИ

Надо быть маленьким и уметь
говорить с народом.
В.И. Яковлев, XX век

Бес в друге, а друг — суета.
*Григорий Распу*тин

Здесь и там — всему чужой.
Н.А. Некрасов, XIX век

1. Подворье Казимирыча

Город Париж — не только Эйфелева башня, Лувр и шмотки. Париж — город особых людей. Париж — это подворье Казимирыча. Если вы устали от французских красот, отдохните в замечательном, райском уголке. Хозяин подворья, Виталий Казимирович Стацинский, хранит русские сокровища: петуха с красным гребешком, картинную галерею, православную часовню, черного пса Гришку и комнату для гостей под названием «Отель де Руси», где вы можете бесплатно переночевать, если вы приглянетесь хозяину, человеку удивительному во всех отношениях.

Как получилось, что в ста метрах от могилы Модильяни, в квартале парижской бедноты очутился коренной москвич Стацинский?

«Я задумался на проводах Мишки Гробмана в 1971 году, — вспоминает былое Казимирыч. — На Запад меня вынесла “еврейская волна”. После долгих размышлений я понял, что Париж ждет меня с нетерпением».

В.К.С. не прятался от милиции в подполье Совдепии, не гонялся за иностранцем с запретным товаром, а руководил журналом «Веселые картинки», где, по его словам, кормилась целая орава нелегальных знаменитостей. Высокое положение в издательском мире и сочувствие инакомыслящих ставили его в сердцевину артистической

элиты оформителей, живописцев и авторов книжек для советской детворы. По свидетельству скульптора Александра Злотника, его любили женщины. У него было множество верных друзей и подруг. Он любил командовать и рисовать. На языке советского искусствоведения график Стацинский «реформировал стиль детской книжки, отправляясь от богатой традиции русского лубка». Преуспевающий советский гражданин жил припеваючи до того странного игрового ритуала, когда поднялась эмигрантская волна и, смывая налаженный быт, на харьковских велосипедах хлынула на вольный Запад, где, по слухам, всего было навалом.

В 1978 году Казимирыч явился в Париж, в забитую невежеством и гордыней крохотную русскую общину, неспособную принять французскую культуру. Бывшего московского командира не покидала заветная мечта стать знаменитым и богатым издателем, прославиться на западный лад. После короткого, но примечательного разговора, разумеется, с помощью наемного толмача, парижский банкир отфутболил пожилого изгнанника в компанию русских рабочих, где на хлеб зарабатывали упаковкой газет. По ночам он горько плакал, вспоминая наставления мудрых москвичей: «Витюша, тебе пятьдесят пять лет, куда тебя несет нелегкая?»

Однако как некогда начиналась Святая Русь с деревни Кучкино на Москве-реке, так и упорный Казимирыч собирал очаг русской культуры по крохам. Подворье родилось из крохотной комнатки, купленной на средства сестры, с давних времен живущей во Франции. Отчаянные попытки штурмом взять книжный рынок приносили сплошные разочарования. Чопорные издатели не спешили дать место приезжему оформителю, но Казимирыч не сдавался. За мизерное жалованье упаковщика и обороты с продажи прялок он начал издавать русскую литературу и увеличил жилое пространство сначала до двух комнат, а затем и до пяти с четырьмя входами, курятником и вишневым деревом.

В то время как Казимирыч расширял свои владения, местный арабский пролетариат, трусливо бросая камни в огород, отступал на холмы с холодными сортирами.

«Русский победил арабов в самом Париже!» – любил повторять хозяин подворья, поднимая на забор ряд колючей проволоки.

В конечном счете Казимирыч осуществил свою мечту. Он завел издательство, где всем делом заправлял один человек «Витя-Блюм-Стац», то есть сам Казимирыч. Одновременно с бездоходным изданием, когда тетрадки под названием «Русский болтун» приходилось самому разносить по магазинам, он развернул и музейную деятельность. Для сбора произведений актуальных искусств, как, бывало, в старину купец Третьяков, он обратился на парижские толкучки и скваты, где творит международная богема. За сходные цены он приобрел замечательные вещи современной пластики, сработанные из старой ветоши, гнилой древесины и малярных красок.

Стены и углы подворья, построенного в виде буквы «Г», украшали инсталляции безымянных гениев, небрежно компонуясь с окружающей пролетарской нищетой. Если по будням хозяин встречает гостей «чем Бог послал», то по большим праздникам готовится изысканная еда в древнерусском стиле – горячая картошка, селедка, водка – и гости напиваются и нажираются до непотребного вида. Ни одна артистическая тусовка не обходится без захватывающих, драматических склок и гнусного мордобоя. В народной памяти навечно врезалась дата 6 октября 1983 года, совпавшая с днем рождения Казимирыча и официальным открытием подворья. После основательной самогонной выпивки на стол, заваленный объедками, вскарабкался грузный детина, бывший московский мебельщик Вовик Толстый (В.С. Котляров), и завизжал нечеловеческим голосом: «Господа, мне здесь плохо!» Приглашенные, разбившись живописными кучами по дому и саду, замерли от ужаса. Всем было плохо, но как посмел никому не извест-

ный нахал испортить праздник? Знаменитый бард Лешка Хвост, словно оглушенный громом, упал на гитару и захрапел. Эстеты Юрий Купер и Женя Новиков спрятались в ванной. Литературный хулиган Эдик Лимонов на всякий случай снял штаны. Сексуальный мистик Юрка Мамлеев сунул селедку в карман. Поэтесса Кира Сапгир усидчиво глотала картошку в тулупах. Казимирыч, одетый в красный русский костюм, выскочил с кухонным ножом и закричал благим матом: «Бей провокатора!» Известные силачи Ленька Милруд и Олег Соханевич сдернули провокатора со стола и положили в лужу. Питерский авангардист Юрий Жарких храбро бросился на выручку товарища, приняв на себя ножевой удар. От его красивого костюма небесной синевы полетели клочья. Особенно старался приблудный швед, не знавший русских законов. Он рвал костюм на мелкие куски и вешал их на вишневое дерево для красоты. Милруд двинул его по уху слева, потом справа, чтобы не вмешивался в дела великой державы. Кровавая разборка продолжалась до первых петухов. На рассвете Казимирыч обнаружил, что с его невестой спит приезжий график Кирилл Дорон, провокатор Толстый ночью исчез, как тать, а модернист Жарких умирает от ран.

Новый вид парижского пейзажа вносил значительные поправки в человеческие отношения.

На юбилейный праздник десятилетия «бульдозерного перформанса» (1984), организованный собирателем подпольного творчества Александром Глезером в шато Монжерон, шли все, кому не лень ехать за город. Не успел Казимирыч присесть за стол, как вихрем, пылая от гнева и величия, влетел Глезер, ловко выбил табуретку из-под тощего зада Казимирыча и воскликнул: «Вон отсюда, гебистская сука!» Не моргнув глазом Казимирыч отрезал классическим: «Бей жидов, спасай Россию!»

Стацинский числился у Глезера не художником, а коммунистом, засланным Кремлем для подрывной работы в эмиграции.

Идейные противники сцепились и принялись колотить друг друга по бокам и спине, пока драчунов не растащили храбрые женщины.

Беспокойное воображение московского эстета не ограничилось издательской деятельностью и драками. Неистощимый на выдумки человек осенью 1985-го потряс русскую общину, полвека страдавшую хронической нищетой и манией преследования. Во славу чудотворной русской цивилизации на месте сгнившего курятника Казимирыч возвел кумирню во имя Святого Георгия Победоносца. Первый денежный взнос строитель получил от грека Георгия Костакиса и за дальнейшей помощью обратился к русской и мировой общественности.

Наглый план изобретательного артиста взбудоражил всю русскую эмиграцию, от «белой» до «еврейской» волны. Великий комбинатор обещал духовное излечение за хороший вклад в постройку священной кумирни и проклятие и отлучение от подворья в случае отказа.

Люди копали ямы, корчевали пни, закладывали камни, латали крышу, тащили иконы и самовары.

Я не кормился у «Веселых картинок», но Казимирыч решил меня оприходовать на всякий случай — ведь в хорошем хозяйстве все сгодится, от ржавого гвоздя до старой газеты. Он решил, что я ему «должен».

«У меня Борис Васильевич Спасский и Женька Соловьев за шахматной доской, поспешай, говнюк, ты должен посмотреть, как играют чемпионы у Казимирыча».

«Сегодня барон Павлик Бенигсен поет под гитару, ты должен принести бутылку»; или «приходи вечером на читку Домбровского в присутствии его супруги, ты должен ей что-то дать»; или «читает Генрих Сапгир, ты должен притащить знакомых с деньгами»; или «Воробей, художники подрядились украсить мою часовню. Вот Лида Мастеркова — стоит рядом и не даст соврать — сделает “Хождение по мукам”, Оскар Рабин обещал “Распятие с предстоящими”, Олег Целков — “Вседержителя”, Сашка Лео-

нов — “Мучение Святого Георгия”, Сергей Есаян — “Избиение младенцев”, Боря Заборов — “Положение во гроб”, Эдик Зеленин — “Изгнание из рая”, Юрка Куперман — “Разрушение Вавилона”, Юрка Жарких — “Бегство в Египет”, Сашка Злотник — вообще говнюк, не отдает должок взял на себя “Святое семейство”. Ты должен написать мне “Страшный суд”. Краски и скипидар есть. Захвати свои любимые кисти, ясно?»

Куда яснее? От таких великих имен у любого закружится голова. Я, отлично зная, что ничего ему не должен, тащусь на подворье с любимыми кистями.

После решительного протеста грамотной части эмиграции под водительством княгини Зинаиды Шаховской жульничество Казимирыча выставили на всеобщее осуждение. Землекопы, кровельщики и живописцы разбежались, но неунывающий хозяин подворья дары русского православия спрятал в сундук, а в кумирню запустил злого петуха и пару несушек — подарок польского народа, по его словам.

Народная любовь не угасала, а разгоралась к живому артисту.

Вне всякого сомнения, кроме еврейской бабушки, у Казимирыча был и татарский дедушка с богатым гаремом. Мысль жениться на богатой, красивой и умной девушке никогда его не покидала. Жизнь пожилого разведенца в пределах Французской республики превратилась в сплошной свадебный перформанс.

К зависти мужчин, лишенных воображения, бородатый очкарик, не знающий иных наречий, кроме московского, собирал у себя лучших невест Парижа. В гостеприимный дом, воспетый бардами и скандалами, не раз пытались вселиться невесты с приданым, и всегда свадьба кончалась драматически. Воинственные претендентки, вцепившись друг другу в космы, портили праздник, и тогда через забор с колючей проволокой они летели вместе с собаками и чемоданами.

«Изгнал за сварливый характер», – заключал Казимирыч, уже расположенный к очередной свадьбе.

Может быть, это неисправимый хапуга, эгоист и скряга, лишенный гуманизма?

Мало кто знает, что этот легкоранимый человек без шума и показухи делился последним куском хлеба с попавшей в беду парижского подполья Лидией Алексеевной Мастерковой. Брошенная всем миром великая художница нашла у Казимирыча достойный и бескорыстный приют и возможность творить в искусстве. Около года прожила Мастеркова на подворье под неназойливым присмотром коллеги, искавшего для нее связи с торговцами картин.

В 1989 году рухнула огромная советская империя. Поражает ее бескровная кончина, банальность и серость «исторического события». Ну, задавили пару литовцев, а так все расползлись по сталинским границам. Новая Россия внесла значительные изменения на подворье Казимирыча в Париже. Вместо осторожных столичных искусствоведов появились бесшабашные «совки», готовые ночевать в курятнике. В дом пришла настоящая русская хозяйка, способная кормить петуха и орошать вишневое дерево. Она потянула законного мужа назад, на Волгу, в тенистую рощу, где поют соловьи, но жизнь на подворье не затихает. Кричит петух, кипит самовар, ночуют дорогие гости.

Кудесник русской культуры не стал французом. Арабский пролетариат по-прежнему бросает камни в огород с вишневым деревом, а всемогущая строительная компания намеревается возвести небоскреб на месте священного русского оазиса. Я должен вам сказать: пока не поздно, приходите на подворье Казимирыча. Истинный строитель храма добродетели накормит вас самогоном с булками. Драгоценный свидетель прошлого расскажет, как убивали в России искусство, как выгодно жениться и выстоять на чужбине.

Слава Казимирычу!..

2. Белютинцы за рубежом

В начале шестидесятых годов в Москве славилась так называемая «студия Белютина», рисовальная школа под руководством Э.М. Белютина. Ее престиж был чрезвычайно высок, но не педагогикой, а красавицами, не умевшими рисовать. Все они работали в текстильной промышленности, кто оформителем тканей, кто модельером, кто книжным шрифтовиком. Естественно, вокруг такого цветника вертелись десятки московских молодцов, искавших любовных приключений. Самыми заметными были Феликс Збарский, Эрик Неизвестный, Володя Фридынский, Володя Аниканов, Слава Зайцев, Юрий Соболев, Юрий Красный и множество других, составлявших постоянный «клуб» почитателей белютинской студии.

Московские художники Кирилл Дорон и Юрий Куперман учились рисовать в Педагогическом институте им. В.П. Потемкина, не князя Таврического, а советского наркома просвещения, по классу педагогики искусства, затем сняли подвальное помещение насупротив Центрального почтамта, куда на огонек потянулся отборный народ Москвы, фрондируя официальное творчество.

Я познакомился с ними осенью 1961 года в огромном бараке Центрального парка, где повесили сотни картин начинающих живописцев и пару моих в том числе. Советский критик А.Н. Михайлов заклеймил меня «формалистом», а студенты-«потемкинцы» возвели в ранг «старик-ты-гений» и пригласили пить пиво в мастерскую академика А.А. Осмеркина с дочками на выданье.

Несмотря на заметное общественное положение профессора Академии художеств, живописца Осмеркина упорно обзывали «формалистом», не прощая ему кубистические проказы молодости. Его старшая дочь Татьяна, пережив измену авангардиста Володи Слепяна, сбежавшего за границу с варшавянкой, сошлась с Дороном и ждала от него ребенка. К младшей, и самой красивой, Лильке,

сваталось сразу три перспективных жениха: Додик Маркиш, сын знаменитого поэта, погибшего под «сталинским топором», Вовка Фридынский, сын счетовода, утверждавший, что его предки не местечковые евреи, а бояре Архаровы, основавшие Москву, и студент Юрий Куперман, сирота, игравший роль московского Модильяни.

Видный из себя, высокого роста, с мягкими манерами и спокойным голосом, Купер — так сокращенно все его звали — сразу бросался в глаза, а уж у женской половины человечества пользовался большим успехом.

Главной темой разговоров было поспешное бегство Слепяна в Европу, его потрясающие успехи в Варшаве и Париже, потом — передовая «студия» Элия Белютина, где учились дочки Осмеркина.

Кто победил красавицу Лильку, не помню, кажется, все трое в порядке живой очереди, и ваш рассказчик — с опозданием на пять лет. Лилька Осмеркина отличалась удивительной добротой и отзывчивым сердцем.

Тогда самой яркой звездой московского искусства считался декоратор Александр Тышлер. Он очень много работал для советских театров, где позволялись некоторые вольности, а для себя писал небольшие картинки маслом, где изображались дамы с прическами в виде фантастических замков и кораблей. Бесцветные по колориту и вялые по рисунку, эти милые фиолетовые картинки на фоне тракторного маразма представляли определенную браваду вольномыслия. О них писали храбрые публицисты, их покупали богатые лирики и физики с достатком.

Бывая в Москве, я обязательно заходил к Генриху Шиманцу, гению шрифта и мыслителю, оказавшему на меня огромное влияние. Многолетний и штатный оформитель Музея изящных искусств им. А.С. Пушкина (Волхонка, 12) — в те времена такая должность существовала при каждом государственном учреждении — готовил каталог выставки Тышлера и сочинял афишу на фасад здания музея.

Каково же было мое удивление, когда в конторе Шиманца я обнаружил Дорона и Купера на развеске картин Тышлера. Мы выпили водки за встречу и осмотрели картинки.

«От развески до членства один шаг», — ухмылялись они друг другу.

И верно, через год или два ребят взяли в Союз советских художников в качестве действительных членов без выставки творческих достижений.

Модная московская пара — «белютинка» Нелка Аршавская и писатель В.И. Аниканов — распалась. Нелка ушла к родителям. Я навестил разведенку в уютном домике с сиреневым кустом — большая редкость в многоэтажной Москве. Мороз крепчал, метро закрылось, и я заночевал у гостеприимной женщины. Из поспешной связи без эмоции ничего путного не получилось, но завязалась ночлежная дружба, и раз в этом садике я застал Юрку Купера, хорошо освоившего, как мне показалось, скрипучий диван Аршавской. Разговор не клеился, и торжествующая хозяйка приказала: «А ну, художники, рисуйте мой портрет!» — «Да ну тебя, — отмахнулся Купер, — лажа все это!» Я смекнул, что мое присутствие парализует творческие способности питомца «потемкинской деревни», и великодушно уступил ему диван с сиреневым кустом.

Шутка в одном действии!..

Еврейское возрождение, связанное с сокрушительными победами израильтян над сборной арабских стран (1967), с одной стороны, и очевидный рост антисемитизма в России — с другой, захватило Дорона и Купера. В их творческом подвале на Кировской, где обыкновенно обмывали кости начальству и веселились с девицами, возник новый сюжет: «Ехать — не ехать?», как в пьесе великого Шекспира. Дорон на время застрял, а Купер улетел в Израиль в 1972 году. Его сопровождала законная жена Романовская, манекенщица, игравшая на показах Москвы «славянский шарм», и падчерица Настя десяти лет отроду.

Следы московской семьи сразу замельтешили на извилистых маршрутах Европы и Америки.

Я томился убожеством и сложностью своей жизни. В 73-м чернобородый искусствовед Боря Бродский, командированный в Париж на розыск русских сокровищ, поселился на чердаке моей невесты Анны Давид. Встретился он с Юрой Купером, жившим в гостинице неподалеку. Свояки отобедали у Нины Кандинской и разъехались спать. Пока Купер храпел, воры утащили деньги. Испугавшемуся хозяину гостиницы ничего не оставалось, как сдать неимущего клиента в полицию. К счастью, нашлись сердобольные знакомые и выкупили художника из заключения.

Воистину, пути Господа неисповедимы!..

Юрий Купер ехал на Запад забрать все удобства и славу. Артистическая атмосфера Израиля, куда он завернул поначалу с парой «белютинцев», Красным и Григоровичем, совсем не подходила законченному эстету. Там искусство приравнивалось к профессии сапожника или бондаря. Семья Куперов повернула в Англию, где супруга получила работу на русском радио, а Юра, свободный как ветер, атаковал всевозможные варианты выставок, и Франция стала его доходной бухтой, где он бросил якорь.

Летом 79-го, слоняясь по пестрым и пыльным улицам Парижа — четвертый год моего приземления в этом городе, — я вздрогнул: в витрине знаменитой галереи «Одермат» стояли огромного размера натюрморты, размашисто, латинскими буквами подписанные «Купер». За эти годы я не видел русских картин в продаже, и вдруг на богатой и скучной улице Сент-Оноре, в просторном помещении висит мой московский приятель Юрий Куперман.

Пепельные композиции и объекты с летящими тряпками, перьями, спичками, пузырьками. Вызывающе оригинально и на большом виду. На столе цветной каталог с похвальными отзывами Вильяма Сарояна, Энди Уорхола, Ромена Гари, но как найти художника, чтобы выразить свой искренний восторг?

Я наобум написал отзыв в русскую газету, и после публикации раздался звонок Купера. Он хотел меня видеть, и «в любое время».

Я был так занят новорожденной дочкой, страдающей необъяснимой рвотой, что встречу затянул на пару месяцев. Наконец в конце года мы встретились.

Жил он почти рядом, в десяти минутах ходьбы от моего жилья, у кладбища Монпарнас, в так называемом «доме Пикассо», где местожительство знаменитости оспаривали сразу пять квартирантов, причем один так возненавидел посторонних искателей приключений, что выскакивал с карабином наперевес и кричал «Па иси, па иси!» (не здесь!). Он чуть не застрелил случайно попавшего к нему грека Костакиса.

Мы не успели облобызаться, как в дверь вломилось четверо москвичей: Юрий Красный, Максим Шостакович, Кирилл Дорон и Галя Бондаренко с хозяйственными сумками в руках. Я ожидал все что угодно, но не Бондаренко, когда-то певшую на балконе московского небоскреба «Ой, мороз, мороз, не морозь меня».

«Ну, Валюша, — воскликнула дочь известного металлурга, — теперь я тебя не выпущу!»

Оказалось, что около пяти лет она живет в Париже, поет в кабаре «Распутин» и ведет вольный образ жизни. В свободное время берет уроки рисования у Купера и продает картинки русским кабакам. В «мастерской Пикассо» царила творческая атмосфера. Купер, в рубахе навыпуск и босиком, лессировал водой большой холст с изображением старинного венецианского окна. Кирилл Дорон заканчивал пастельный портрет Галины Вишневской.

Как только смерклось, люди бросили рисовать и на двух автомобилях рванули за город, в усадьбу мадам Бельской, воронежской комсомолки, ловко окрутившей французского журналиста Мишеля Курно. Громадный особняк буржуазной архитектуры располагался в рощице, почерневшей от дождей и холода. Каркали мокрые вороны. Над-

вигалась ночь. У горящего камина запела Бондаренко. Максим Шостакович одним пальцем подыгрывал ей на фортепьяно. Купер и Красный резались в шахматы. Дорон, Бельская и я скоблили мерзлую рыбу.

«Какая я сволочь, — думал я, — у меня пищит дочка, жена крутится как белка, а я пирую с богемными друзьями».

В отчаянии я хватил стакан водки и свалился под стол. Глухой ночью раздался крик Юрия Красного. Он отравился ядовитой рыбой и мучился от диких болей в животе. Шостакович и Купер поспешили к машинам.

Такой была моя первая парижская встреча с «белютинцами», напомнившая московские гулянки в Абрамцеве, Поленове, Перхушкове.

В современном обществе существует пренебрежительное отношение к декоративному творчеству, несравнимому с «высшим», метафизическим, разрушительным и устрашающим. Я считаю такой взгляд ошибочным. Допустим, исполосованное ножом произведение Лючио Фонтаны — глубокая мистика, хотя что тут мистического в механической резьбе по холсту?

С самого московского начала Купер, увлеченный театром, создавал декоративные вещи, добротные по ремеслу и нарядные на вид. Его артистическое восхождение слагалось совершенно классическим образом. Он легко шел на связь с людьми по давно отработанной схеме: очаровать и оприходовать. Художник упорно искал свое «я», не уклоняясь в чуждый мир мистики, и вовремя отошел от бородатых стариков и безликих красавиц. Парижские галерейщики рискнули вложиться в амбициозного и работящего русского артиста. На моих глазах он стал неотъемлемой частью парижского пейзажа. 1983 год стал годом его триумфа в Латинском квартале. У него появились доходная галерея, постоянный столик и телефон в легендарном кафе «Ля Палетт», освещенном корифеями «Парижской школы». Его щедрый характер знали все рабочие галерей и

коммерсанты антикварных бутиков. Юрий везде был свой, везде принят и обласкан, но хотел еще больше. В это счастливое время парижской славы я получил от него открытое письмо, составляющее сливки моей корреспонденции.

«Живопись в чистом виде — это жест, касание художника по некой поверхности. Рука Воробьева спонтанно блуждает по таинственным лабиринтам, где вы увидите силуэты полузабытых животных, мифологические тени прошлого и настоящего, калейдоскоп колористической битвы, где кисть пляшет в диком танце, затем растворяется в зоне затишья и усталости. Энергичный и растянутый жест крутит и вертит замысловатые узлы, потом медленно разрывает их, чтобы снова бежать и связаться узорчатым гнездом. Его живописный ход напоминает монастырские четки. Глубоко религиозный живописный жест. 27 ноября 1985 года. Париж».

Такое мог написать только Джорджио Вазари о Микеланджело!..

Купер — деликатная натура, но не поддается наглой силе, профессии не изменил, как это сделали многие эмигранты, ставшие халтурщиками. С необычайным достоинством, завидным упорством и знанием дела он проносит свое замечательное творчество через все преграды и соблазны современной жизни. Убогий и жадный мир русской эмиграции он обходит стороной, как кучу говна на тротуаре, однако его находили наглые просьбы соотечественников. Он основательно одарил деньгами и картиной отчаянного болтуна с поврежденной психикой Стацинского, помогал умирающему от белой горячки А.Л. Хвостенко, финансировал два номера пустой галиматьи под названием «Мулета» Котлярова-Толстого. Купер давал взаймы и вывел в «люди» целый выводок неблагодарных подражателей и учеников на Западе: Злотник, Григорович, Заборов, Бурджелян, Макаренко, Путилин — и в России: Ващенко, Игнатов, Бабкина-Вертинская.

Он создал доступный декоративный образец для хитроумных и коварных последователей.

«Белютинцы» Юрий Красный и Кирилл Дорон остались сами по себе и обосновались в Америке.

В 77-м никто не предполагал, что через десять лет рухнет Берлинская стена безобразия и варварства. Тогда московские коллеги виделись обреченными страдальцами престарелого коммунизма, невинными жертвами гнилого режима. И вдруг страна открылась, и друзья полетели во все стороны. Мир превратился в один коммунальный барак. В табели русских артистических ценностей Илья Кабаков занимал особое положение. Купер и Кабаков встретились в Париже, но попытка сделать нечто общее и концептуальное провалилась, и друзья разошлись.

Обычно деньги дают горбунам, а не таким красавцам, как Купер, но бывают исключения. Появление женщин в торговле искусством работало в его пользу. Все, кто мог, бежали в Америку, где веселее работать и много денег. Купер навещает денежный Нью-Йорк, но на крючке держит кусок нормандской вотчины, где у него красивая ферма, с блеском превращенная в натюрморт по цвету и содержанию.

Из холодной России мало-мальски сообразительные люди качают большие капиталы. Там вчерашние комсомольцы быстро превращаются в миллиардеров. Их жены, утонувшие в нагрянувшем богатстве, усердно ищут декораторов европейской выучки, и тут Юрий Купер занимает первое место.

Вот что выходит, когда тебе улыбнется дочка русского олигарха.

3. Сенсационное заявление Юрия Жарких

Юрия Жарких я хорошо знал в России. Морячок из Кронштадта, самоучка в искусстве, довольно нагло, на зависть питерской богеме, влез в московский «дипарт», в самый

доходный лианозовский клан. Он быстро снюхался с толкачом «Лианозова» Александром Глезером и стал его постоянным поставщиком картин.

У меня в подвале он появился в 68-м году. Приехал покорять Москву. Морячок рисовать совсем не умел и не видел цвета, но кто обращает внимание на такую чепуху?

Работать много и одинаково научил его я. Тогда он показал мне самый беспомощный набросок, где что-то изображалось, но что никто не знал, ни он, ни я.

— Сделай мне десяток таких вещиц в большом размере и маслом, все продам иностранцам, — сказал я ему.

Несмотря на существенные профессиональные дыры, Жарких обладал редким упорством в работе и чувством конкуренции. Так и вышло. Он сделал десяток холстов, правда, на кривых, самодельных подрамниках, и все продал немцам за хорошие деньги. Я видел эти вещи в их квартирах, они отлично держались в самом опасном соседстве московских «звезд»: Плавинского, Калинина, Харитонова, Зверева. Конечно, находились ядовитые критики, как Васька-Фонарщик, обзывавший эти декоративные картинки «кучей соплей», но морячок вписался в московский андеграунд и желал славы и денег погуще.

Тактика питерского бойца была проста и действенна от начала – дарить свои вещи, если не продаются. Например, высокомерный Михаил Шварцман считал, что его творения изменят лицо мира и, следовательно, непродаваемы, как иконы в церквах.

Мой подвал Жарких быстро оставил и перебрался в квартиру А.Д. Глезера, взявшего на себя роль маршана московского искусства.

На пустырь 1974 года Юрий Жарких вырядился как на свадьбу: в черное с бабочкой – ленинградцы обожают уличные праздники. Его земляк Евгений Рухин не уступал ему в нарядной роскоши. Их побили, картины сожгли и посадили в участок за хулиганство, правда, выпустив арестантов утром с пожеланием творческих успехов.

Долгое время я считал вдохновителями «бульдозерного перформанса» молодых художников Комара и Меламида. Замечание О.Я. Рабина («Мемуары», 1981), что «идея показа картин на свежем воздухе возникла в бане деревни Софронцево, где я парился с питерским другом Рухиным», малоубедительно. Опытный художник не нуждался в деньгах и славе, они постоянно капали на него с 60-го года.

Прошло много лет. Я сочинял очерк о «бульдозерной выставке» и опрашивал ее участников с глазу на глаз. Больше всех старались осветить драматическое происшествие люди, непричастные к нему, мирно стоявшие на тротуаре в качестве свидетелей. В 1984-м это событие считалось незначительным эпизодом, диссидентским мероприятием, а не феноменом русской культуры, но в 1994-м официальная Россия торжественно признала большое культурное значение «бульдозерного перформанса». Юбилей по высшему разряду. Выставки и банкеты в Париже, Нью-Йорке, Москве. Радио, газеты, телевидение. Впервые за двадцать лет меня пригласил русский посол на званый вечер. Я чувствовал себя не хулиганом, а спасителем Москвы, как герой-сибиряк в 41-м году.

Национальный праздник, чего там!..

Конечно, гладко праздник не прошел. На телевизионном шоу в Москве художники Борух Штейнберг и Леонид Талочкин единодушно высказались, что организаторами перформанса были не Рабин, живущий в Париже, а Комар и Меламид, живущие в Нью-Йорке, чем вызвали гневный протест адептов другой схемы. В русском посольстве в Париже я встретил Юрку Жарких, шепнувшего мне на ухо:

— В парной бане Тарусы, между пивом и водкой, возникла идея пленэрной выставки в Москве.

Ну, подумал я, видно, в парной бане всегда решается судьба русского государства. Я просил его документально подтвердить сенсационное сообщение. Жарких прислал мне целый мемуар, написанный размашистым почерком

крепко выпившего человека. Письмо в военно-морском стиле с употреблением таких фраз, как «спортивная рота», «рыболовные сети», «прибрежные дома» — хотя какие в московском предместье могут быть «берега» и «сети»?

«В Тарусе родилась и вызрела идея этой выставки, я помню, мы долго ломали голову, как на это дело увлечь Оскара, т.к. эта выставка Оскару практически (продажа картин) ничего не давала, он, наоборот, сразу не понял, что инициатива шла от меня (хотел продавать) и от Сашки Глезера (расширялся круг художников для его коллекции), и долго был настроен скептически — до тех пор, пока не увидел реальный список имен на пригласительном билете. Включился в эту выставку после того, как на него наехал бульдозер».

Здесь Жарких сплющил два события, имея в виду и выставку в Измайловском парке.

Оскар Рабин отлично знал, что соввласть не простит ему картину «Еврейский паспорт», расфасованный в авторских копиях иностранным потребителям. Евгений Рухин крестился в православие, но, как говорил Пушкин: «Жид крещеный, что вор прощеный». Эльская, Комар, Меламид, Брусиловский, Борух, Глезер не собирались креститься и постоянно толкались у Большой московской синагоги. Такой «сионистский кагал» годился лишь на репатриацию в Израиль, а не на всесоюзную выставку авангарда. Его необходимо разбавить славянским элементом, и появление в «реальном списке имен» инициативного морячка и потомственного кубанского казачка оказалось настоящей находкой. Такими героическими пешками затыкают дыры в любой шахматной партии. Жарких получил почетное «шестое место» в списке участников. Уламывать Лидию Мастеркову, профессионала высокого уровня, долго не пришлось. Ее сын, начинающий акварелист Игорь Холин, собирался за границу по «израильскому вызову».



Брянский базар до войны



Граф Сергей Михайлович Толстой



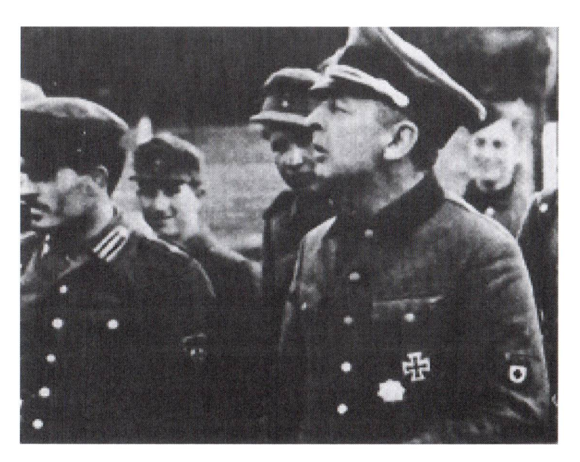
Сержант Трофим Сергеевич Воробьев. 1943 г.



С.Н. Хольмберг. 1940 г.



Пленные красноармейцы. 1941 г.



Обербургомистер Локтя Броня Каминский. 1943 г.



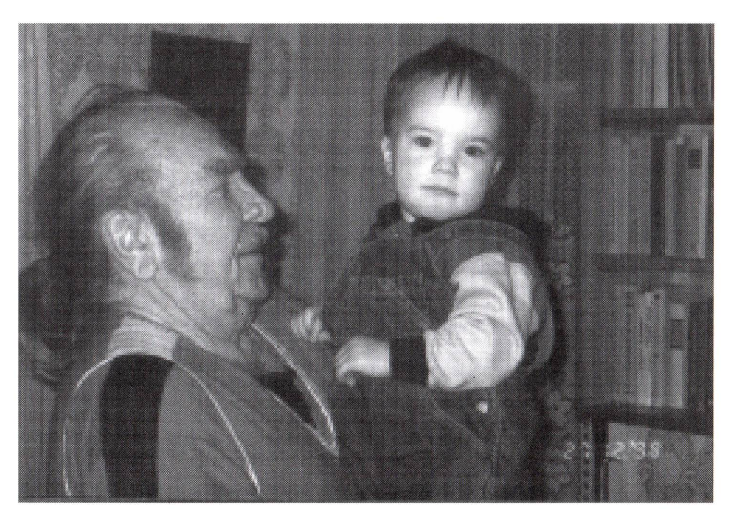
Советские агенты СМЕРШа в Париже. 1945 г.



Призывник Воробьев не годен к службе в советской армии. 1958 г.



Анна на подворье русского казака в Мюнхене. 1975 г.



Писатель и казачий атаман Иван Абрамов с внуком. 1998 г.

Приглашаем Вас

на первый осенний просмотр картин

на открытом воздухе

с участием художников: О. Рабина, В. Рухина, В. Немухина, Л. Мастерковой, Н. Эльской, Ю. Жарких, А. Рабина, Боруха Штейнберга, А. Меламида, В. Комара, ~~А. [illegible]~~.
В. Ситникова, В. Воробьева, И. [illegible]

Выставка состоится 13 сентября 1974 г.

с 12 до 14 часов

по адресу: конец Профсоюзной ул. до пересечения с ул. Островитянова

Пригласительный билет на бульдозерный перформанс

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

ТЕЛЕГРАММА

Принята — Кл. № 64 — Передача

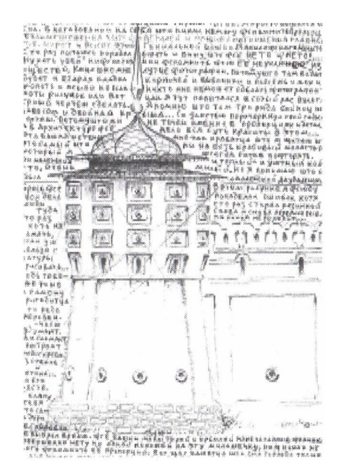
МОСКВА Н-90 УЛИЦА ЩЕПКИНА 4 КВ 11 ВОРОБЬЕВУ

МОСКВЫ 8206 13 4 0058

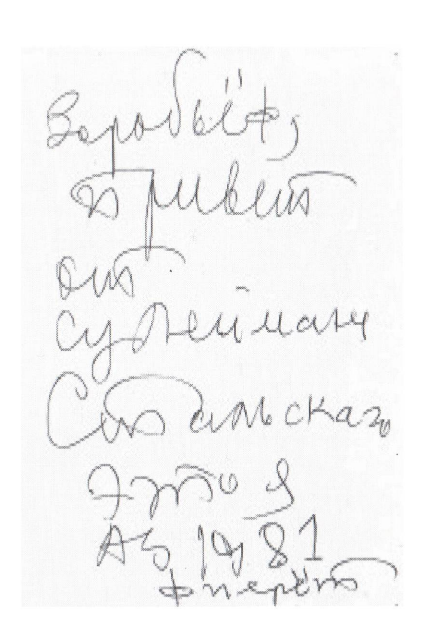
Служебные отметки

СРОЧНО ПОЗВОНИ ТЕЛЕФОН АЕ-[illegible]-76-74 ОСКАР

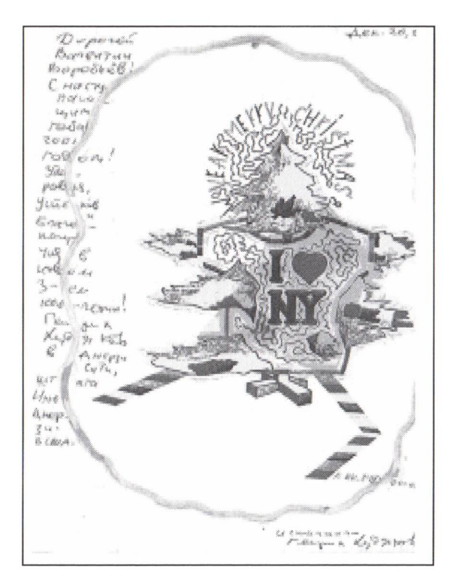
Телеграмма О.Я.Рабина, 1974 г.



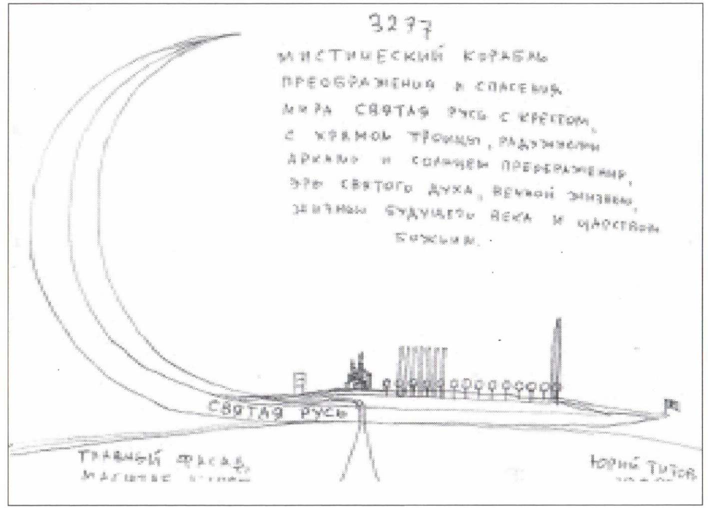
Письмо В.Я. Ситникова



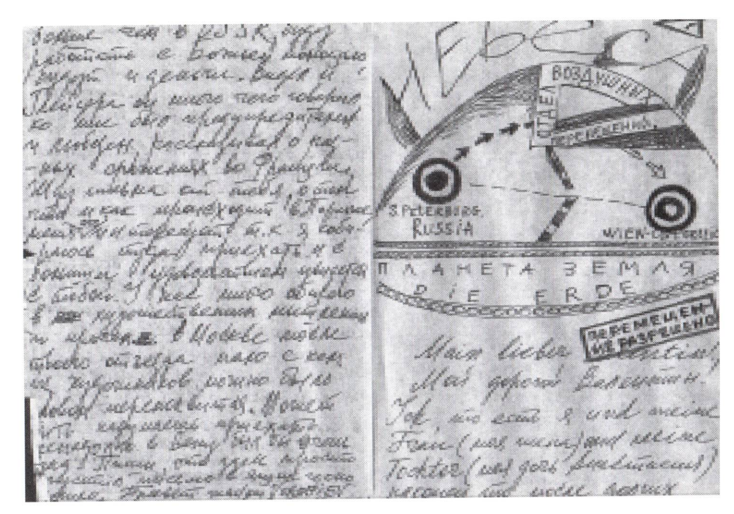
Записка А.Т. Зверева



Письмо Г.Ф. Худякова



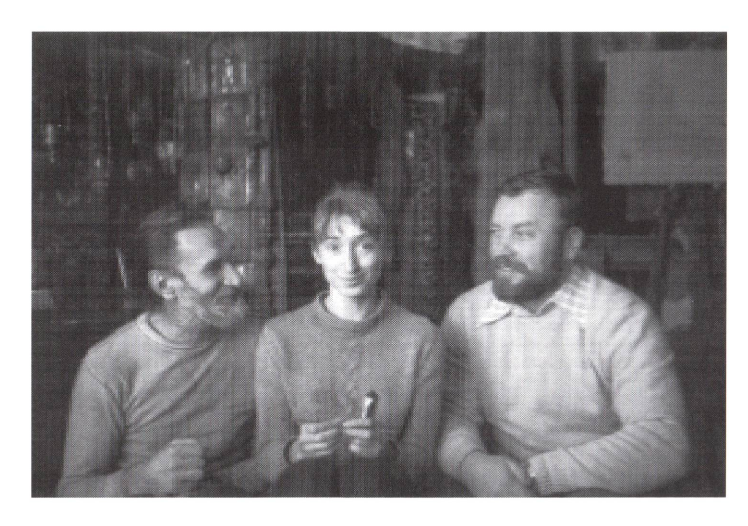
Проект мистического корабля Ю.В. Титова



Фрагмент письма А.Л.Леонова



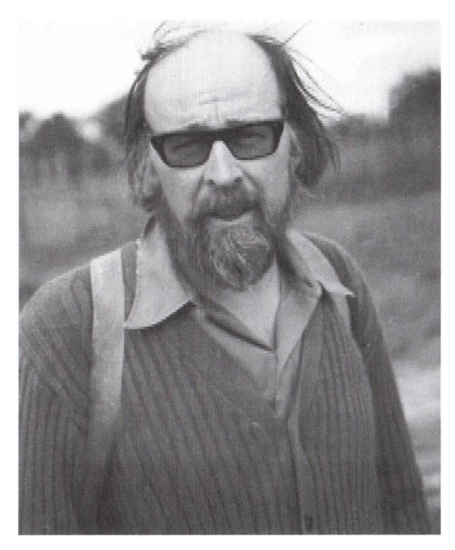
Борис Свешников в Тарусе



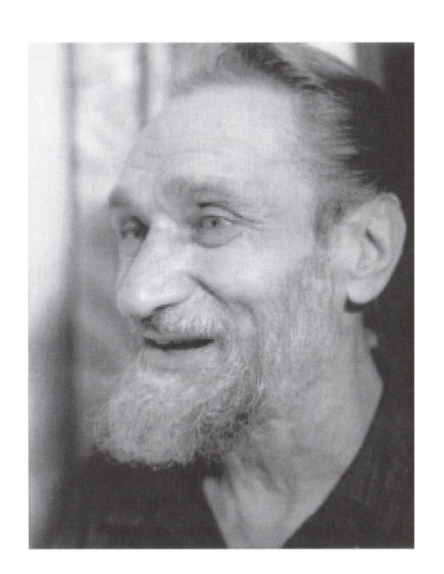
В.Я. Ситников, Ивлева и В.И. Воробьев. Москва, 1974 г.



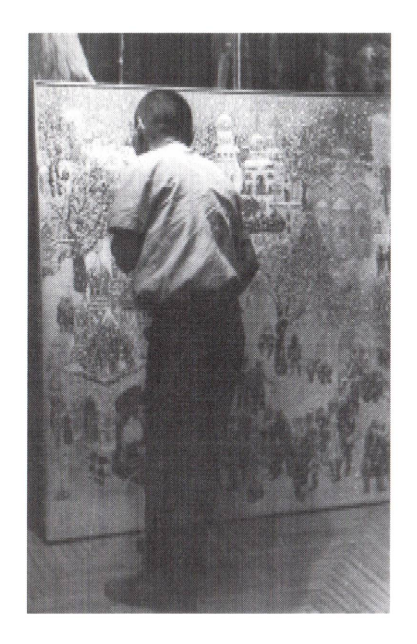
В сквате у Тиля. 1980-е годы



В.К. Стацинский



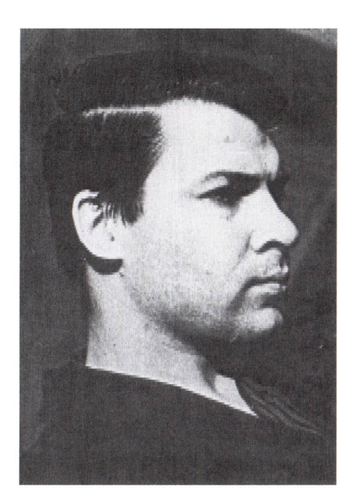
Василий Яковлевич Ситников



Вл. Яковлев
у картины Ситникова



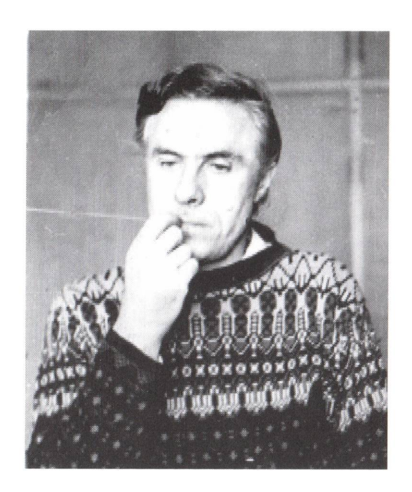
Галина Битт
с борзыми собаками
Льва Нуссберга



Лев Нуссберг. 1960-е годы



Лев Нуссберг в своем американском поместье. 1990-е годы



Генрих Худяков. *Фото Л.А. Мастерковой*



Юрий Васильевич Титов. 1963 г.



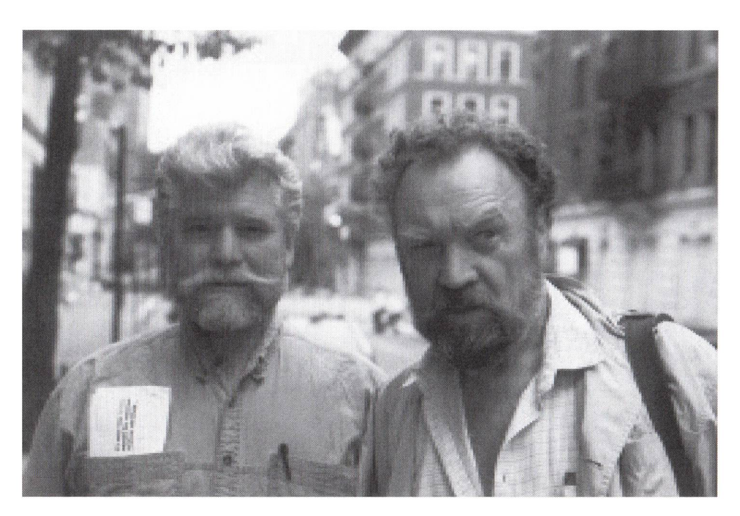
С Володей Бугриным в Париже. 1980-е годы



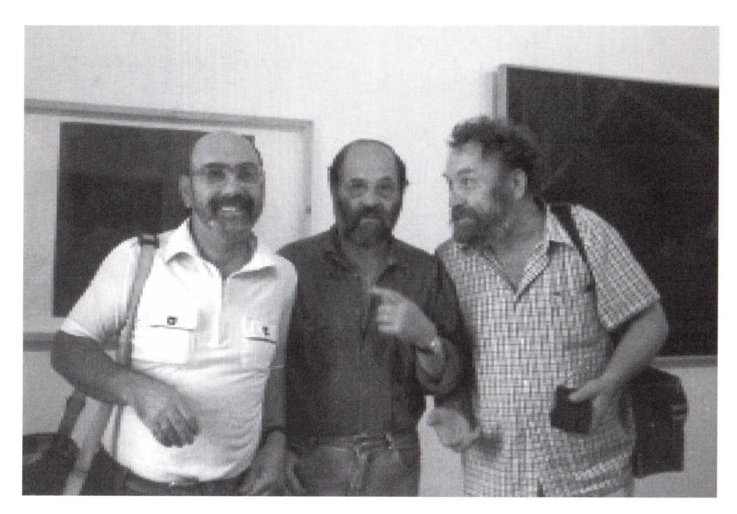
Художники Зеленин, Стацинский, Заборов и Воробьев
у Басмаджана



С Володей Бугриным в Париже. 1980-е годы



С художником Вальтером Некрасовым в Нью-Йорке. 1998 г.



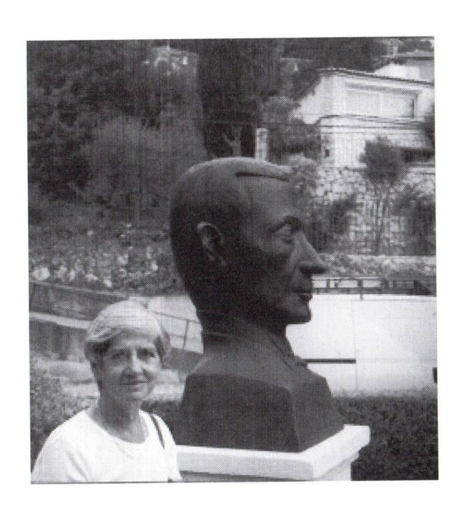
Даниэль Фрадкин, Толя Басин, Воробьев в Тель-Авиве. 1995 г.



Леонов, Целков, Воробьев



С профессорами Сорбонны Вероникой Жобер и Жаком Катто



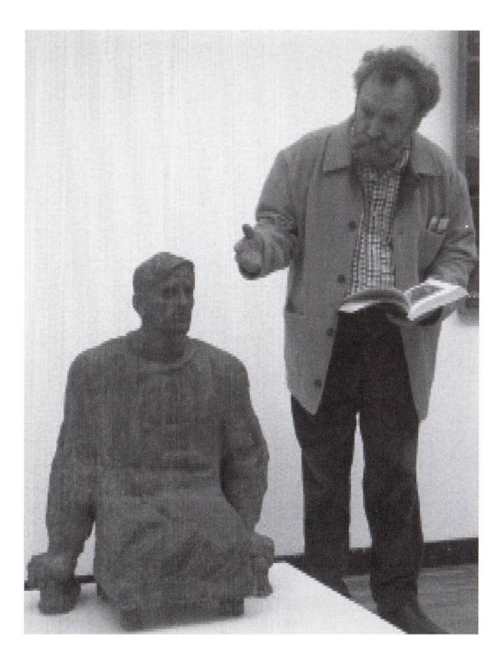
Анна Воробьева у бюста И.А. Бунина в Грассе



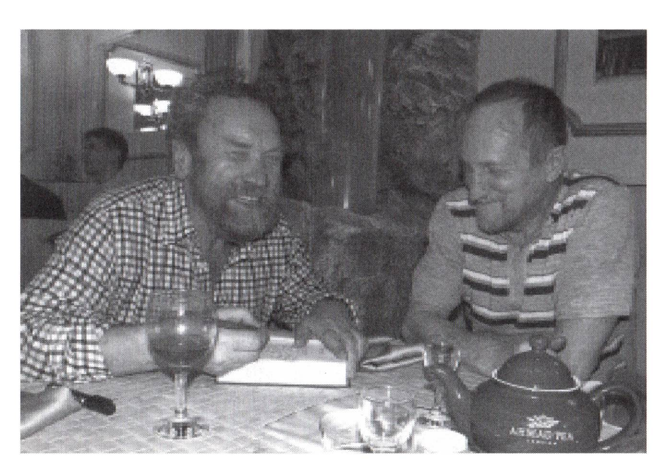
В Третьяковке у найденной автором картины Любови Поповой



Дом в Ельце, в котором в разное время жили
гимназист Ваня Бунин и студент Валя Воробьев



Инвалид Дм. Шаховского и его прообраз



С Рудольфом Антонченко в московском ресторане

И дела пошли как по маслу. Всемирная слава борцов за свободу творчества. Очередь на картины. Дипломаты, журналисты, аспиранты, туристы.

После моего отъезда за границу Жарких немедленно перебрался в мой доходный подвал и очень ловко продавал свои картины, пользуясь известным адресом, куда по привычке тянулись покупатели, попадавшие в руки цепкого ленинградца. Его политический вес был высок в эти годы (1975—79), а в Питере он вообще стал «политруком» диссидентских выставок. На Запад он выехал по приглашению немца — случай немыслимый в то время (1979) — и знал, что это не туризм, а изгнание, и готовился к нему заранее, запасая картины, связи, протекции. Немцы на дух не выносили эмигрантов. Поляки у них косили траву, турки копали ямы, евреев в стране не было. Осмотрев развалины рейхстага и Берлинскую стену, Жарких направился в Париж, где начал танцевать с Глезером от пустой и холодной печки «неофициального искусства». Года через три ненадежных снов на гвоздях «по Чернышевскому», с мечтой о коммунальном счастье, что совершенно немыслимо в западных условиях, он с Глезером порвал.

В Европе я опять его «вывел в люди». Он сошелся с лупастой черногоркой, рисовавшей букеты. Я их часто навещал в парижском пригороде и дал совет победить Францию в качестве бродячих живописцев. Они купили грузовичок, забили его картинами — и посыпались выставки в далеких клубах, заказы, знакомства, деньги.

На «тухлых балтийских берегах», как он выражается в письме, место Жарких кто-то занял в его отсутствие. Его выставка в Мраморном дворце прошла незамеченной, и питерские музеи не прицениличь к картинам. Оставался зимний сезон на лыжном курорте Куршавель, где тусуется русская денежная знать, а летом — Лазурный берег, где он продает картины в пляжных ресторанах и гостиницах.

Сытно и незаметно живет питерский морячок Жарких в Европе!..

4. Петрович и Володя

О кончине двух хорошо мне известных художников Петровича и Володи я узнал из газет осенью 1998 года.

Я отлично знал Петровича (Борис Петрович Свешников) и Володю (Владимир Игоревич Яковлев), необходимые биографические данные у меня были, образцы произведений тоже, и я тут же решил набросать их литературные портреты, не вступая в полемику с авторами припадочных газетных статей, помещенных в русской прессе, где каждая политическая группа обрабатывала их на свой аршин. В черносотенной газете «Завтра» появилась похвала Петровичу — ох, подумал я, как распелись армейские соловьи, бросая вонючие камни в «дипарт» и «зловонную богему», где покойный художник обретался долгие и сознательные годы. Дифирамб адептов Гулага (лагеря в их понятии — «дома трудолюбия»!) художнику невинному, отбарабанившему восемь лет во льдах Заполярья, в моей похвале не нуждался.

Покойного инвалида Володю Яковлева ни к селу ни к городу засыпали затрепанным до безобразия титулом «старик-ты-гений», присовокупив репродукции цветом с надписью: у нас его оригиналы, у других фальшаки!

Не оспаривай чужое, подумал я, а гни свое.

Успехов вам, друзья!..

Наберись терпения, не спорь, не горячись, не учи, а расскажи.

Россия неприбрана, народ осатанел, но всех не запихнешь в дурдом, и лучшее средство и лекарство — терпеливый и тщательный обзор больного явления. Картин живописца мне мало, подавай физику творца, породу и семью.

1927 — год рождения Петровича — ничем не блещет, разве что окончательным закрепощением России и концом экономических послаблений. Московский мальчик рос в семье с существенным изъяном: отец — русский дворянин, а мать — немецкая баронесса. От расстрела их спас-

ло столичное многолюдство. Вместо просторной квартиры — коммунальное уплотнение и налеты на чужие души. Они копали оборонительные рвы и получали пролетарские пайки тихого советского помешательства.

Боря здорово рисовал, но все — по порядку.

Боря рос послушным и тихим мальчиком, прошел «трудовую школу второй ступени», не опаздывая в класс и не выделяясь в отличники.

Подкрался нешуточный военный год — 1941, — и коммунальный шумок: «слышали, немцы напали на Россию?»

Ждала ли семья Свешниковых прихода немцев – вот интересный и неразрешимый вопрос. Вполне возможно, сказал бы я, ведь немцев ждали братья Кончаловские, актер Блюменталь-Тамарин, литератор Иванов-Разумник. Надвигались могучие освободители от тирании большевизма. Свешниковы аккуратно гасили авиационные фугаски в песке и ждали, чья возьмет. Когда немцев отогнали от Кремля, хорошо рисовавший Боря поступил в Институт декоративных искусств, где главным был А.А. Дейнека, самый спортивный артист тоталитарного режима. Рядом сидели дети благородных фамилий: Вася Шереметев, Димка Жилинский, Иван Борисов-Мусатов, ученик с немецким именем Людвиг Сай и самый опытный, двадцатидвухлетний инвалид кровавых боев, потомок польского гетмана Лева Кропивницкий.

Итак, лучшие на курсе, читавшие не речи товарища Сталина, а мысли Иммануила Канта в подлиннике. Дорогие товарищи, да ведь это банда недобитых фашистов, а не советские комсомольцы!

Меня интригует присутствие в кружке совсем не пострадавшего «дворянина» Дмитрия Жилинского.

Звучит классика!..

Говорят, Анастас Микоян, долгожитель Кремля, был бакинским комиссаром в 1919 году. 26 расстреляли англичане, а 27-й, Микоян, сел на велосипед и укатил в Москву.

Под видом общеобразовательного кружка собирались «враги народа».

Отряд избранных! Какое высокомерие!..

Тогда, в 46-м это было не смешно. Тут пахнет не Алексеевской лечебницей имени Петра Петровича Кащенко, а бери выше — Лубянка и расстрел.

По рассказам Кропивницкого и Петровича, на допросах в Лубянке никто не строил из себя убежденных дворян и чистосердечно сознался в содеянном преступлении, хотя вопросы следствия были сплошной казуистикой, например: «Кто вас завербовал?» Если честно, то никто, — но тогда получишь по зубам и карцер, потому что честный и правдивый ответ не соответствует планам следствия. План следствия надо чувствовать и помогать ему, тогда не бьют по соплям и срок скостят наполовину.

Прокурор республики был не дурак, а великий диалектик.

Почему эти безмозглые заговорщики, выдающие себя за художников, сидят в пролетарском тылу и читают Канта? Почему граф Шереметев прячется в сыром московском подвале, а не гоняет такси в Париже? Почему гетман Кропивницкий не командует бандеровцами, а протирает советский «вуз»? Где скрывался Свешников, когда депортировали немцев из Москвы? И прочие в подобных капканах.

Ребятам крупно повезло. Им лепили по восемь лет ИТЛ с последующей ссылкой в провинции. Один «враг народа» Жилинский получил перевод на живописный факультет, чтоб через полвека я подозревал его в предательстве. Повезло парню — и все!

Мягкое наказание я объясняю либерализмом прокурора. Через пять лет его расстреляли как опасного космополита.

Ребятки вышли на волю, а мужик сгинул ни за что. Конечно, прокурор — сволочь, посадил невинных студентов. Я не мазохист (привет, герр Зигмунд Фрейд!), а скорее «дав-

лю», как выражается мой друг Вася Полевой (Южная Каролина), но мне жаль прокурора, а не пятерых молодых людей, получивших сроки.

Выпей с нами, товарищ прокурор!..

Вижу стальной взгляд осужденного Петровича на длинном, сухом лице.

Заводила кружка, идейный вожак, орденоносец войны, словоохотливый и спесивый Лева Кропивницкий — бушует кровь древних сарматов! — больше всех трепался на следствии, но получил и отсидел, как все, свой восьмилетний срок заключения.

Так было и так будет!..

А вот и лагерный пейзаж: заполярная тьма, отощавший землекоп, «немецкий шпион» Петрович украдкой рисует летающих голландцев, на него спускается архангел Гавриил, одетый по зимнему — коверкотовое пальто, канадские бурки, меховая шапка, — и басом говорит: «Старик, ты — гений, плюнь на все и рисуй!»

Зэк в канадских бурках, лагерный фельдшер Аркадий Штейнберг, стреляный волк и тертый калач. Полковник Красной Армии и «враг народа», поэт и живописец тянет второй срок по политической статье.

С общих работ, по протекции влиятельного фельдшера, Петрович попадает в будку ночного сторожа и рисует там по ночам при керосиновой лампе.

«Такой полной свободы творчества я не испытывал никогда», — вспоминает былое художник.

Один из первых перовых рисунков Петровича, помеченный 50-м годом, я видел в доме Акимыча в 59-м году. Захватывали изображенный простор и крохотные персонажи, блуждающие в небытии: кто-то карабкается на стенку, кто-то запрягает лошадь, кто-то пилит дрова, кто-то дерется с мертвецом. И повсюду небесные силы в неограниченном количестве и птицы, улетающие на край света. Композиция без сюжета, сделанная тонким пером лагерного мастера.

Синдром Босха у него врожденный. Случай не уникальный, но чрезвычайно редкий в русской традиции, и мне не приходит в голову имя художника, работавшего в этом направлении. Настоящего, подлинного Босха в Москве нет, а черно-мутные репродукции былых времен, застрявшие в лагерной библиотеке, вряд ли оказали прямое воздействие на молодого художника.

Иеронимус Босх работал по заказу европейских королей, Петрович — только для себя. Такой эгоизм совсем не соответствовал шаблону пролетарского идеала, но лазейка нашлась на воле. Графическое перо нашло применение в книжной иллюстрации. Альбом с летающими зэками доставляли в Москву уходившие на волю заключенные.

Куда двинулся Петрович, отсидев срок? Конечно, в Тарусу, быть рядом с лагерным спасителем Акимычем.

Ах, какие замечательные люди вырастают за колючей проволокой!..

Пафос высокой культуры.

Книжка чешских сказок в его оформлении (1957) сразу получила признание академиков, и бывший «враг народа» стал официальным членом графического общества.

* * *

Мой сокурсник Александр Васильев, меценат, коллекционер, книжник, эстет, показал мне гения своего выбора, живущего у стены Бутырской тюрьмы, в бараке с кривым потолком и черными от клопов стенами. Нас встретил низкорослый малый, постоянно жмуривший глаза. Говорил он с невероятными словесными сдвигами.

«Сашка пришел, а с ним студент воробей — не гоняй голубей, прилетел и сел в мое кресло».

Вздыбленные ежиком черные волосы, необычное устройство лица, взгляд не от мира сего — первое, что бросалось в глаза.

Инопланетянин в человеческом образе, зовут — Володя Яковлев.

Что касается искусства, то ничего подобного я раньше не видел. Володя наклонялся над листом бумаги, как ювелир над драгоценным камнем. Если прямиком его глаз обо что-то спотыкался, то боковым зрением он видел все и далеко. Особый глаз безгрешного созидателя. Анатолий Тимофеевич Зверев, с которым он часто пересекался, считал, что «Яковлев видит лучше нас с тобой, и только хитрит, чтобы побольше заработать».

В темном, кривом коридоре стояли большие холсты, прислоненные к стенке. Оказалось, что дед Володи работал вместе с К.А. Коровиным, учившим его писать широким мазком.

Гений непознаваем. Он — невидимка. Опознанный гений сразу попадает в дурдом как социально опасный преступник. У него нет рядовой жизни с заслуженным отпуском. Рисовать сутками напролет, без отдыха на безделье— разве это жизнь? Володя рисовал по ночам на коммунальной кухне, когда спал рабочий барак, а утром соседи топили его живописью общую печку. Художник часто впадал в меланхолию и спасался от регулярной жизни в психиатрической лечебнице, где люди ближе к Богу.

Мое зимнее знакомство с Володей Яковлевым не обрывалось до его кончины.

Происхождение его гения не менее гремучее, чем у Петровича. Дед его Михаил Николаевич, нижегородский старовер и ловкий живописец «левитановской школы», до эмиграции во Францию (1922) служил в Императорских театрах ассистентом Коровина. Супруга Феодосия Францевна, женщина немецких кровей, шила театральные костюмы, однако жить достойным образом им не довелось. Тысячи российских беженцев меняли профессию на ходу. В Одессе капитан, в Белграде — грузчик, в Париже — шофер. Кровожадные казачьи атаманы превращались в смирных швейцаров, знаменитые адмиралы — в уличных

рисовальщиков. Левитановский мазок нижегородца никто не оценил, семья жила впроголодь и на вечном чемодане. Сын Игорь посещал не сборище «белых воинов», точивших ножи крестового похода против большевиков, а комячейку университета, и рвался строить коммунизм. Вернулся в Совдепию с приятелем. Приятеля сразу расстреляли как британского шпиона, а фанатика коммунизма послали копать каналы. Добровольцу, скажем прямо, крупно повезло.

Пожилые труженики святого искусства вслед за сыном вернулись на историческую родину.

«Приветствую вас с новым небом и новой землей. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет», как правильно выражался апостол.

Строитель Игорь Яковлев успел жениться на уроженке солнечной Бессарабии Вере Тейтельбаум. «Не баба, а газировка», как о ней выражалась свекровь Феодосия Францевна. 15 марта 1934 года в глухом бараке Балахны родился головастый мальчик, названный, естественно, в честь главного вождя Владимиром.

«У нас в Балахне росли мальвы», — вспоминал деревенское детство Володя Яковлев.

Дед Михаил Николаевич скончался в 1943-м, а бабушка и молодая семья строителей перебрались в московский барак, на грязную Тихвинскую улицу. Володя не смог закончить начальную школу, два года просидев в третьем классе: и надоело, и заболели глаза. Смотрел на дедовские пейзажи и мечтал стать живописцем. В издательстве «Искусство» ему поручили растушевку чернобелых фотографий, но до встречи в 57-м году с «профессором всех профессоров» В.Я. Ситниковым Володя не знал, что и как рисовать. Гипнотизер изящных искусств Ситников водил ретушера по фестивалю молодых художников, объясняя, что хорошо и что плохо для живописи. За год палочной тренировки Володя вырос в живописца первой величины.

То, что я увидел в 58-м, было сделано с оглядкой на китайцев школы «гохуа». На мой вопрос художник, играя словами и образами превосходной и смешной связи, говорил: «Это я придумал новый стиль гохуаташи».

Сильно сказано, не правда ли?

За ним сразу началась охота редких собирателей и поклонников: музыканты Вадим Столляр и Андрей Волконский, поэты Геннадий Айги и Миша Гробман, книжник и киношник Сашка Васильев, психиатр Виктор Райков, ученые физики Работнов и Новожилов.

Салон влиятельных людей Москвы!..

Современное общество высоко ценит рисование глубоких шизофреников, изучает и содержит в особой папке «артбрют». Об этом отлично знал Райков и постоянно вводил в свои книжки по психиатрии иллюстрации Володи Яковлева как примеры рисования душевнобольных и очень одаренных к искусству людей.

Яковлев – чемпион московских квартирных выставок. Их кто-то раскручивал за него. Осенью 62-го я осмотрел сразу три в один сезон: рабочий клуб «Дружба», квартира писателя В.А. Бугаевского и квартирка «князька» Волконского. Организаторы доставали стекла, резали паспарту, обрамляли изоляционной лентой и вешали. Вещи обретали чистый и товарный вид на продажу довольным эстетам. За годы московских блужданий я посетил десятки квартир и везде видел «цветок» Володи Яковлева, висевший на главной стенке.

Игорь Михайлович и Вера Александровна сияли от счастья, когда за почеркушки сынка посыпались денежки. Возникли счет в Госбанке и кооперативная квартира.

Ленинский проспект, дом 152, корпус 1, квартира 121, телефон 434-08-40.

Туда я часто звонил и направлял покупателей.

* * *

Свое «членство» Петрович отрабатывал акварельными набросками с натуры. Писал зиму, осень, лето и весну. Трижды работал при мне, в 61-м весной, в 65-м и 67-м — летом. Сначала он замачивал лист ватмана широкой кистью, а затем вводил натурный мотив в виде дубрав, стволов, травы и далей, на глазах расползавшихся красивыми, тонкими разводами. Такие вещи считались проходными и выставлялись в официальных залах.

В 1961 году мы жили коммуной в Тарусе, и мне удалось сделать с него набросок черной тушью. Суровый и неприступный человек с тюремной академией художеств не говорил, а цедил слова, постоянно уклоняясь от прямого ответа. Он всегда уходил от горячего и сумбурного трепа юности, где «искусством не пахнет», а лишь грубо распределяют места на туманном Олимпе святого искусства. В ту весну мы готовили выставку в городском клубе, и его картина с мужиком в снегу фигурировала в списке владельца этой вещи, поэта Аркадия Штейнберга.

В лагерном бараке, где свободно творил Петрович, не было возможности работать красками, и перовые композиции, переведенные в масляную технику, теряли графическую остроту. Он их не писал, а раскрашивал, как делают все графики. Техника старых мастеров уже не волновала двадцатый век, а перебросить мост в шестнадцатый век было сущим безумием графомана. Петрович следовал этой странной линии, но в начале 60-х модернизировал технику, вводя дробный мазок вместо старинных лессировок. В композиции появились театральные персонажи с длинными телами и манерными жестами, на мой взгляд, ничего не значащими и подозрительного вкуса. В таком ошибочном уклоне глубокая струя его оригинальности просыпалась, как крупа в дырявом мешке.

В 65-м, после долголетней тяжбы с первой супругой, которую я никогда не видел живьем, летом он нагрянул в

Тарусу с новой семьей. Его тощий пасынок Сашка во всю курил гашиш, а новая подруга жизни, некая театральная дама Ольга Алексеевна Мамченко, постоянно изучала православный календарь со святыми и готовила очень вкусные и забытые русские блюда. Уезжая куда-то, они поручили мне присматривать за юным наркоманом, и я впервые удостоился от Петровича тепленького словечка, «спасибо, голубчик». С пасынком мы курили гашиш, по вечерам ходили в танцевальный клуб, а днем слушали поднадоевших «битлов» из коллекции моих дисков.

До 67-го года Петрович был невинным утопистом искусства, работая под кровать. Я совратил его в «дипарт».

Однажды ко мне залетел как ураган бразильский капиталист, владевший гостиницами в Рио, и купил штук шесть картин из абстрактной серии «Ворота», для украшения своих офисов. Он желал побольше, у меня было пусто в загашнике, и я направил настырного покупателя с немецкой фамилией Отто Браун к Петровичу, в деревню Коптево, имея в виду многочисленные сезонные акварели, годные для украшения любых гостиниц. Бразилец наотрез отказался ехать в русскую деревню без русского заложника. Мне пришлось мыться, менять штаны и сопровождать.

Иностранным страхом болел и Петрович. Мы ехали к гордому и осторожному зэку без всякой надежды на положительный исход дела, но каково же было мое удивление, когда Ольга Алексеевна очень ласково и просто пригласила к себе без запинки: «Заходите, мы вас ждем».

Хозяйка малогабаритной квартирки с низким потолком приняла нас по-царски. В «постный день» на столе появились заливной судак с хреном, квашеная капуста с мочеными яблоками, грибные разносолы, горячие пончики с повидлом и особый чай пыхтевшего самовара.

Капиталист отобрал десяток акварелей, отвалил Петровичу пятьсот рублей и запомнил постный обед в России на всю жизнь, до своей кончины в 95-м году.

Уверен, что это был первый иностранец в деревне Коптево, и еще точнее, у картин художника Свешникова. Возможно, вихрем проскочил пронырливый Г.Д. Костакис, но какой он иностранец, если знает, где расположено Коптево, без гида, заехал и пропал, не купив перового рисунка.

Петрович, вперед в «дипарт»!

Ольга Алексеевна, пораженная нежданной получкой и моей бескорыстной помощью, решила навестить мой доходный подвал на Сухаревке с молчаливого согласия мужа.

На пороге 68-го года супруги постучались ко мне, отряхиваясь от пушистого снега. Сияющая, краснощекая Ольга в оренбургском платке, за ней Петрович в огромной ондатровой шапке, но как только радостная пара переступила порог, то сразу сникла. В громадном судейском кресле храпел пьяный Зверев, а за стеной стучал на машинке романист Игорь Холин, давний противник Петровича на романтическом поприще. Вслед за ними ввалились тарусский писатель А.И. Шеметов и Лешка Паустовский с авоськой водки и пива. Мои Свешниковы, не снимая шапок и ссылаясь на срочный фильм в кинотеатре «Форум», пробкой выскочили из подвала и больше не появились. Женившись на Ольге Мамченко, зэк Петрович попал в порядочный, московский «домострой» сытости и строгих правил.

Православная хищница Ольга Свешникова тащила мужа на иностранную славу. Петрович рисовал тощих, высохших от страстей скрипачей и фокусников на фоне домов без украшений и стиля. Сиреневое, фиолетовое, много желтого. Он влез в «дипарт» по шляпку. Его хрупкие фантазии иностранцы разбирали с мольберта, едва просохнет картина. Мои поездки в Коптево продолжались. В 73-м немца Юзефа Ридмиллера, по уши влюбленного в русскую цивилизацию, я провожал к Петровичу. Был не великий пост, а мясоед, богатое меню и видные гости. Стол украшал улетавший в эмиграцию искусствовед Игорь Голомшток и соломенные жены художников Звере-

ва и Плавинского, Люся и Зана. Как обычно, велась беседа о какой-то чепухе, связанной с рецептами русской кухни, где гостеприимная хозяйка выступала большим экспертом. Жены художников согласно кивали, уплетая расстегай с мясной начинкой, а мой немец, очарованный гастрономическим могуществом России и ее широкой душой, сиял от счастья и не торгуясь купил картину Петровича под названием «Благая весть».

Чернобородый и суровый Голомшток считал картины и рисунки Петровича особым искусством, невозможным на коммерческом Западе. Такая оригинальная версия мне очень нравилась, но углубить духовную беседу за обильной едой и питьем нам не удалось.

Диссидентство 60-х составили юные мечтатели, недоучки и фарцовщики советских вузов. В 70-х появились инакомыслящие академики и писатели, проснулся Запад, и качать права стало видным делом.

Я заметил спуск бывшего зэка Петровича в неуютные, но прибыльные ряды московских диссидентов. Я бы не удивился, если бы завтра появилось «открытое письмо» в защиту писателя Солженицына с подписями Ольги и Бориса Свешниковых.

2 сентября 1974 года, на приеме в бразильском посольстве известный чемпион «дипарта» Оскар Яковлевич Рабин полушутя-полусерьезно предложил кучке художников принять участие в выставке на пленэре. Ольга Алексеевна, услыхав, что картины надо выставлять в непогоду, сказала с удивлением:

«Оскар, ну это совсем не для Бори, у него очень хрупкие картины».

«А я покажу, — лукаво заметил О.Я.Р., — надо поддержать молодых художников».

Я без условий присоединился к авантюре Рабина.

Свешниковы в открытую посещали иностранные посольства и уже не нуждались в свидетелях незаконных сделок.

Незадолго до кончины Петрович ослеп и впал в черную меланхолию безделья, смертельную для художника. Осенью 1998 года он умер, так и не повидав Иеронимуса Босха.

Неповоротливую Россию художник жестоко наказал, лишив ее своих гениальных альбомов и картин.

* * *

Володя Яковлев сбежал из психбольницы Ганнушкина и желал работать маслом.

Его нежная дружба с Гробманом — особая статья под названием «старик-ты-гений», но ни тот, ни другой не владели техникой масла. Гробман жил на балконе без света. Яковлеву «масло» не разрешали родители, не выносившие запаха керосина. У меня в подвале воняло керосином, стояли чистые картонки и холсты, навалом кистей и красок.

«Слушай, Воробей, — начал Володя с ходу, — возьми меня в ученики... Люблю учиться, хотя ненавижу математику... Люблю мальвы и солнце... Без солнца жить нельзя, это доказал доктор Эйнштейн, да я без него давно об этом знал, когда хорошо видел в детстве... Солнце пытался рисовать Ван Гог, но ничего не вышло, сошел с ума... Солнце съедает цвет... Солнце — это диктатура света, а не цвета... Я — светоносный художник...»

В конце 60-х в московском подполье появилась мода на геометрическое искусство: Потешкин, Троянкер, Штейнберг. Я показал Володе «красные квадраты» Потешкина, и он тут же отрезал: «Квадрат — это не живопись, а геометрия. Живопись — это ветер, а не квадрат».

Школа рабочей молодежи для отстающих располагалась в Ананьевском переулке, в двух шагах от моего подвала. С тетрадкой ученических каракуль Володя спустился ко мне. Его разговорная речь сияла и вертелась невероятным кувырком вымысла и красивых слов. Вся-

кий раз он выдавал изощренные образцы русской словесности — и ничего определенного.

Таков подход гения...

Никакого трепа по душам, сугубо личное нас совсем не трогало, и первые пробы маслом он лихорадочно стирал тряпкой, несмотря на мои просьбы сохранить их. После его ухода я прятал «говно» и подставлял свежую картонку, нарочно купленную у матерщинницы в Ермолаевском подвале. Стандартные картонки, затянутые льняным холстом. Таким образом я спас от истребления штук тридцать работ без переписки и порчи, несмотря на угрозы «свернуть мне набок челюсть».

Раз Володя привез с собой молодую учительницу русского языка Руфиму Глуховскую. Она, озираясь по сторонам, вошла в подвал, посмотрела на «масло» Яковлева и сказала: «А что это такое, Володя?»

Очевидно, художник мечтал получить «пятерку» по письму, но огонь и ветер искусства она не могла оценить.

В кресле спал Борушок. На пишущей машинке стучал водитель троллейбуса Виктор Синицын. Володя кипятился, пытаясь объяснить учительнице сущность масляной живописи, сыпал именами известных колористов — Коровина, Малявина, Архипова. Как об стенку горох. Записи я не вел, и весь словесный поток, бесконечный и острый, яркий и образный, наслаждаться которым мне довелось пять лет подряд, навечно потерян, а память не все держит.

Я учил Володю технике и сам учился, собирая драгоценный энергетический материал искусства, исходивший от его повадок, фраз и действий. Мои классические рецепты он усваивал с трудом, продолжая по-своему тыкать кистью в палитру, организуя свое неповторимое дело.

А вот и коммерческий пустячок.

Ко мне пришли итальянские аспиранты пить водку. Володя закончил пейзаж с белым цветком в правом углу и черным, страшной глубины небом. Итальянцы уцепились

за картинку и берут с условием, если автор подпишет свою работу. Володя, ненавидевший и не умевший подписывать, бросил на пол кисти и скрылся в соседней комнате.

«Парень хитрит, — пыхтел Толя Зверев, просыпаясь с похмелья, — набивает цену».

Разочарованные иностранцы выпили, закусили и ушли. Володя вернулся в ателье с криком, что его давят, насилуют и что он забыл, как писать слово «Яковлев», через «а» или через «о». Зверев ржал от восторга. Я написал на бумаге это слово. Володя скопировал в правый угол довольно коряво, но правильно.

Грамотно и разборчиво подписывать он так и не научился. Ровную подпись следует считать фальшивой подделкой.

Мой сосед Виталий Стесин пытался учить его под диктовку, ничего не вышло. Слова расползались по сторонам, а в каждом было по две-три грамматических ошибки. Копировка по образцу шла лучше.

Миша Гробман опекал его, как нянька ребенка. Навещал в дурдоме, приносил передачи, дарил бумагу и карандаши, общался с родителями, собирал его картинки.

Позднее он мне писал: «Картины Яковлева – не украшение стены, а собеседник и соучастник. Расстаться с его картиной – как расстаться с любимой собакой, живым и беспомощным созданием. Картина Яковлева – это член семьи».

Лучше никто не сказал.

Художник Стесин снимал жилье в деревянном бараке на снос, где собиралась «вся Москва», готовая эмигрировать в Израиль. Бездомные евреи из Бухары, вечно пьяный живописец Игорь Ворошилов с одеколонной пеной во рту, приезжая француженка с блокнотом. Вокзальная сутолока не мешала Стесину рисовать абстрактные картины и подбивать Володю к эмиграции.

«Стесин, я патриот страны Советов, а ты предатель родины, — ворчал Володя. — На кого ты меня покидаешь, вокруг одни воры и шизофреники!»

После отъезда Гробмана и Стесина в Израиль осиротевший Володя влюбился в пианистку Ирину Ермакову. Очень решительная и деловая особа, отлично игравшая Баха и гладившая Володю по голове.

«Может быть, он некрасивый, может быть...»

Те, кто видел, что Яковлев — кусок червонного золота и личность особого покроя, выжимали из него как можно больше.

«Воробей, я влюбился, – раз заявил он мне, – моя невеста играет Баха и чистит мне кисти. Я не могу без нее жить!»

Фальшивая любовь быстро развалилась. Как следует отоварившись шедеврами влюбленного художника, пианистка скрылась во Франции, не заплатив ни одного рубля.

В том же 71-м «простой советский человек», как он сам себя величал, убитый предательством Ермаковой, надолго слег в дурдом.

Эксплуатация человека человеком, чего там!..

Мне повезло. Опасным и больным я никогда его не видел. У меня он не бился головой об стенку, а молча красил. Для меня он был артистом особой породы. Адептам греческих пропорций делать здесь нечего, ну а мне он помогал жить и работать.

Простился я с ним за месяц до моего отъезда в Париж. Ко мне заехал мудрый итальянский маклак Микеле Руджейро и сказал: «Слушай, поехали к Володе, я договорился о встрече».

Родители Володи отлично знали о моем продуктивном сотрудничестве и без звука приняли нас в Черемушках. Дверь открыл Игорь Михайлович, в крохотной комнатушке сидел Володя, скрестив руки на коленках.

«Слушай, Воробей, приготовь мне холст побольше, иностранцы обожают большие картины и хорошо платят».

Огонь и ветер!..

Итальянец купил пачку небольших гуашей. «Мальвы», «ромашки», «лица», «абстракции». В знак особой благо-

дарности Володя набросал с меня и жены портреты карандашом и подписал без единой ошибки в своем имени.

Выставились мы вместе первый раз в Лондоне, в 1985 году. С большим трудом мне удалось выпросить «мальвы» Володи из цепких рук пианистки Ермаковой-Прешак. О нас англичане писали всякую чепуху. Лишь позднее он стал известен на Западе, но совсем не оценен по достоинству. Потом один за другим умерли его родители. Сестра Ольга Игоревна присвоила себе квартиру, счет в банке и заперла братца в дурдом. Там он и скончался. Как и где его похоронили, мне ничего не известно.

Умер он в шестьдесят четыре года, так и не побывав в Китае, о котором с детства мечтал.

5. Голоса родины

О таинственной книге «Золотой диск Москвы» мне стало известно в конце 91-го года. В середине декабря я вытащил из почтового ящика «подкидное письмо», опущенное без почтовой марки неизвестным прохожим. На конверте написано: «Воробиеву от Татьяны», а внутри — текст следующего содержания:

«Уважаемый Валентин Ионыч! О вашей дружбе с Василием Яковлевичем Ситниковым знают и завидуют. Также известно, что у вас хранится его австрийский архив. Составители книги решились просить вас предоставить некоторые документы и слайды его работ для восполнения злополучного пробела 75—82 годов светлой памяти Василия Яковлевича. Если у вас случится желание и досуг рассказать о дружбе с ним для нашей книги — тогда отзовемся сердечной благодарностью за бесценный подарок. Ваша Зана Плавинская».

Сначала я растерялся: «австрийский архив» (какой там архив, пачка писем и никаких слайдов), «документы» (ни одного, кроме копии его трактата о «Монастыре»), «горячая дружба» (как кошка с собакой).

Я позвонил ученику В.Я.С., распиздяю Володе Титову, он был в стельку пьян и промычал о приезде в Париж «богатейшей женщины Москвы по имени Татьяна», бывшей жены фотографа Олега Каплина, вот она-то шла мимо и бросила письмо Заны Плавинской.

Что я знал о Зане? Видел два раза. Раз ее муж, художник Димка Плавинский потащил Зверева и меня пить в тепло многоэтажной башни, но не успел он скрипнуть ключом, как на пороге появилась плотная, с крашеными кудрями блондинка, готовая испепелить самую высокую крепость. Ее муж согнулся от страха и кубарем покатился с лестницы, а следом понеслись и мы. По спинам посыпались художественные принадлежности Плавинского, кисти, тюбики, коробки, флаконы, ножи и карандаши вперемежку с лихой, отборной бранью. Втроем мы позорно бежали по сугробам и очухались лишь в пивной на Сухаревке.

Второй раз я видел Зану с дочкой в гостях у Петровича (Б.П. Свешников). Рядом с ней сидели громадная Люся Зверева с сыном и чернобородый критик Игорь Голомшток, покидавший Россию навсегда. Зана и Люся смирно выслушивали старших.

Говорят, в студенческой юности Елизавета Журавлева с мамой, варившей крепкий самогон, держали молодежный «салон» на Второй Мещанской улице. Видный поэт Аполлон Шухт читал стихи о поднятой целине, выпускник изотехникума Димка Плавинский рисовал святых черной краской, композитор Вадим Столляр бренчал на фисгармонии. После замужества Заны «салон» прекратился, коммуналку тяжелого, международного состава расселили по «черемушкам». На гребне безумной Перестройки поседевшая блондинка, потерявшая жилье и мужа, вспомнила о блудных артистах подполья, хлебавших у нее самогон, и храбро выступила на защиту их поруганных интересов. Ее смелые литературные заметки оценили авангардисты и подбрасывали на хлеб.

Итак, блондинка, бросавшая карандаши с седьмого этажа, из гонителя Савла превратилась в святого Павла.

По привычке я плыл по течению непредвиденных обстоятельств. Вскорости — при встрече с парижской «казачкой» Галей Махровой — выяснилось, что «Зана живет и ночует у госпожи Бариновой в Москве». На адрес Бариновой я выслал список учеников Васьки-Фонарщика, составленный им самим. На Зану он произвел большое впечатление. Она не смогла установить и половины, располагая живыми, московскими связями.

Архивный ящик гонимого искусства пуст — легенды и хохма, разговорчики и грек Костакис, не подумавший обо всем. Опять повезло официозу, долго и единогласно правившему хороводом русской культуры. У его корыта кормятся сотни ученых докторов всех стран и направлений. У пустого ящика андеграунда — кучка бесплатных энтузиастов.

Но дело не в количестве, а в качестве.

В ответ я получил от Заны такую дребедень, что сразу отвернулся от участия в бездарном проекте.

«Васина муза не знала рабского клейма», пишет она. «Вася, конечно, великий женолюб», «таинственно мерцающие торсы, похожие на песочные часы», «гомерически толстая мама моет дистрофическую дочку», «свои живописные холсты он умел устраивать», «химический элемент его организма», «настоящий король киноклипа»...

В подобном «клипе» я не желал участвовать. На голос бомжа Заны я не пошел. Книжка, по слухам, вышла.

* * *

В конце сентября 1993 года меня вызвал к себе художник Эдуард Штейнберг.

«Срочно приходи, у меня пара немецких коллекционеров».

Вызовы такого рода — редкость чрезвычайная в колючем мире «святого искусства», а у моего друга Штейнберга — первый за сорок лет знакомства.

Думаю себе: не иначе как прижали особые обстоятельства. Не знаю, как живут в «колхозах» и «общинах» искусства, но в подпольном царстве, откуда я вылез, живут по принципу «драть и скрывать».

Возможно, колхозные артисты, братья Алимовы, братья Ткачевы, братья Голицыны, толкали друг друга на заказы и деньги, но у нас было только так: «Вы знаете, где живет Воробьев?» Известный авангардист, мой хороший знакомый, отвечает любопытному иностранцу: «О таком не слыхал, и где живет, не знаю».

Живописец Штейнберг завалил немцев под завязку и решил, что дружеский жест поддержки укрепит его славу гуманиста, тем паче что на поиски «потаенного и легендарного Воробьева» уходит ровно пять минут драгоценного времени.

У пары настырных искателей так называемого «нонконформизма» я числился в списке пропавших без вести, и розыск всегда упирался в непроходимую экспертизу «берлинской стены» — Гробман, Стесин, Брусиловский, где я был «не художник, а плохой шрифтовик», не считая выводов кремлевского официоза: «никому не нужен».

Поправка нового эксперта подпольной эстетики Э.А. Штейнберга — «художник нужен, и знаю, где живет» — произвела значительную перестройку коллекции, заваленную примитивами давно не рисующих Потешкина, Бачурина и Курочкина.

Собиратели картинок — эка невидаль!..

Но здесь особые собиратели, «многострадальный еврейский народ», он — Яков Бар-Гера родом из Львова, она — Кенда Бар-Гера из Лодзи — польские земли до передела европейских границ. С детства по лагерям смерти и в глубоком подполье; 1945-й — год освобождения от нацистского ига и новые авантюры. Из пары, перенесшей

вселенское зло истребления целых народов, каждый в отдельности выбрал тернистый путь в Палестину британского мандата, где кучка храбрых евреев сражалась за национальную самостоятельность от опеки великих держав. Они сошлись в бараке молодого Израиля и оттуда получили дипломатическое назначение в Западную Германию, где надолго застряли.

Где же эстетика гонимых художников Совдепии?

В 65-м на немецком горизонте появилась деловая землячка из Лодзи Антонина Гмуржинская, увлекшая скучающую Кенду в торговлю картинками.

«Русские в моей судьбе — особая тема, — вспоминает Кенда. — Красная Армия спасла мне жизнь, освободив из Освенцима, и я никогда не забываю об этом. Совершенно случайно, от чешских друзей, Мирослава Ламачека и Иржи Падрта, я узнала, что в России идут интересные поиски. Увидев эти работы, я была потрясена».

В шестидесятых Шестая Часть Света стала форменным клондайком для дальновидных иностранцев. Парижский маршан Жан Шовелен, как в сказке, из начинающего галерейщика превратился в миллионера. Забытый всем миром московский художник Иван Кудряшов за одно похвальное слово вручил ему чемодан «супрематизма», спасая от забвения в подвале. Золотые залежи русского авангарда 20-х забирали чешские и немецкие студенты в чемодане с грязным бельем. Столбовая дорога иностранцев проходила через студию Толяна Брусиловского с его развитым кругом полезных знакомств. За десять лет беспроигрышной игры с советской таможней подруги из Лодзи вывезли из темной Совдепии значительную часть русского изобразительного искусства, по классификации советских экспертов, «не имеющую эстетической и коммерческой ценности». Золотой русский поток был совершенно бесплатным. Опытные и проворные чехи ничем не рисковали. Чемоданы набивали не только рисунками Гробмана и Бахчаняна, но и шедеврами Казимира Малевича и его

школы. Такая мазня не вызывала любопытства у пограничной стражи, и живопись проходила без пошлины. Лишь в 73-м сверху спустили циркуляр на обложение налогами «модернистских произведений», а позднее и полный запрет на перевозку за границу, с которым никто не считается.

Уничтожать сорняк советской культуры не стали, а, крохоборчески пересчитав, что все это «говно» продается на Западе за твердую валюту, кремлевские фарцовщики решили хапнуть свое.

Не имея адреса, Мирослав Ламачек ко мне не пришел. Моих картин в коллекции Бар-Геры не видели.

Осенью 93-го за широким столом Эда Штейнберга сидела неприметная пара из толпы. Дядя, похожий на кладовщика овощной базы, Яков Бар-Гера, и коротко стриженная дама с подкрашенной губкой, его жена Кенда. Без лишней болтовни они поднялись ко мне на чердак и не торгуясь купили пару масла и десяток гуашей 60-х годов. Большие вещи, сделанные «на свободе», их не интересовали. Над этими работал не «зэк» страны советов, а «европеец», следовательно, вещи не «гонимые», а самого что ни есть свободного творчества. Чуть позднее их сын разыскал в Москве мой большой холст по сходной, то есть московской, цене. Собирали они и редкие памятные фотографии для выставки в Германии. Я им помог в этом деле.

За услугу Эд Штейнберг много запросил — верность Москве.

«Брось идиота Гробмана и приходи к нам. Мы строим кооператив на Трубной — Немухин, Янкелевский, я, — бери площадь рядом с нами».

На такой колхоз я уже не годился: и отвык, и презираю. На вернисаж «гонимого искусства», где меня представили в качестве ученика Штейнберга, я не ездил.

* * *

Анатолия Нисоновича Басина я знал по парижским скватам.

Живописец, мыслитель, питерский смутьян сначала обосновался в Израиле, потом купил студию в Париже, где умещалась одна раскладушка и табуретка, так что бездомным и безумным я его не считал. В 93-м нас свел израильтянин Саша Путов, потомок царя Соломона и царицы Савской. Тогда Басин, или Бася, показал свою живопись — чистый вид традиционной эстетики, никаких революционных дураков и провокаций дешевого эффекта. Везде «женщина-гитара». Темный фон. Квартирное, камерное искусство.

В его короткой автобиографии, составленной для сборника «Газаневщина» — полное собрание подпольных материалов ленинградского искусства, — значится, что Бася — самоучка в живописи. Никаких академий и дипломов, внештатные курсы рисования.

Что меня прельстило в Басе? Сердечная тишина! Ее хватало на всех. Капля альтруизма в море планетарного эгоизма. Современный артист если умеет связать пару слов, то говорит только о себе, как будто на нем свет клином сошелся. Басин, начисто лишенный эгоцентризма, говорит только о других, а это я считал редчайшим достоинством человека.

В 1976-м, спасая свое хрупкое творчество от питерских бульдозеров, он повернул на Запад, где «женщина-гитара» оказалась безместной. Не надеясь на вселенский успех, он улучшал обреченную на вымирание живопись.

Опять отрыв от масс!..

Нужда загнала его в парижские скваты, где искусство держалось на бесплатном энтузиазме.

Россия — особая страна. Об этом все знают.

Советский режим породил множество случаев изощренного жульничества и преступлений, когда за границей пропадали театры и выставки, издательства и концерты, люди и бомбы. В конце Перестройки на Западе появились невозвращенцы новой России. Беглые интеллигенты, очарованные доступной компьютерной техникой, принялись

лепить журналы, книжки, буклеты, плакаты, чтоб вволю насытиться запретными плодами.

Художник А.Н. Басин увлекся печатным словом, издавая брошюры мистического содержания. Для совершенно бескорыстных, авторских изданий он искал любителей позабавиться русской словесностью. Я принес ему очерк «Русский суховей», где шла речь о катастрофической победе «концептуализма» в отдельно взятой Москве. Очерк легко читался, соответствовал «генеральной линии» издания, и я стал уважаемым членом басинского кружка.

У примитивных народов «картина-мечта» совпадает по всем параметрам, как будто они не люди разных континентов и культур, а одна большая деревня. Чернобровая девица с пышным бюстом и оголенным плечом на фоне хижины с кипарисом. Такая райская картинка близка русским, туркам, африканцам, канадцам и китайцам. Таков вечный народный шаблон красоты, и заменить его не смогут никакие американские компьютеры.

Русский народ единогласно, от дворницкой до кремлевских хором, от рабочего уголка до государственных музеев, выбрал «девицу на фоне хаты».

Начинающие модернисты Кремля, храбро перекрывшие дорогу мракобесия, казалось бы навечно установленного в пролетарской стране, ввели новое направление — концептуализм. Об этом законе и шла речь в моем очерке.

«Твой текст будет первоисточником для всех последующих поколений», — писал мне А.Н. Басин в письме.

Ничего себе — хвалит главный каббалист мира! Хвалит блаженный Бася, человек с ключом от высших истин.

Бася считал, что магия русских слов и цифр соответствует духу древней Каббалы, например, слово «басин» легко превращается в «колбасин» или «дубасин», колбаса и дубина в одном природном потоке.

Наверное, у Баси были сторонники этих идей, но они меня совсем не интересовали, ни собраний, ни поучений

я не помню. Я встречался только с Басей, выдавал ему литературный материал, выпивал стаканчик бордо и уходил, чтоб увидеться в иной обстановке. В Израиле (1995), где я провел несколько осенних и трагических дней, связанных с убийством премьера Ицхака Рабина, Бася без промедления устроил мой очерк в журнал «Окна», за бутылкой вина и кошерной колбаской. О членских взносах не было и речи. По-моему, для такой денежной экзотики, как каббалистический мировой центр, Толя Басин со своей блаженной внешностью тихого клошара совсем не годился. Тут необходим был мужик с воспаленным взглядом и повелительными жестами, чтобы сломать волю денежной актрисы и вытрясти ее кошелек. Такой искатель истины, как Бася, не мог завлечь в кружок богатых кинозвезд и знаменитых футболистов, для таких есть гипноз погрубее и поярче. Один пронырливый тип проник на собрание каббалистов в Нью-Йорке, стал кричать на непонятном языке и продавать участникам браслеты из красной нитки. Кружок стал модным и зажиточным, потому что за дело взялись опытные дельцы безбрежной наглости и волчьего аппетита.

Подобная мистика в русском обществе, как и все тайные кружки с дисциплиной, обречена на гибель. На англосаксонских рельсах каббала полетела, как курьерский поезд, а на русских санях завязла в сугробе.

Я смирно глазел на фильм по телеку (запись в дневнике от 18 сентября 1996), когда раздался жесткий телефонный звонок иностранного происхождения. На проводе действительно висела заграница, обретший свое историческое имя Санкт-Петербург. Очень приятный женский голос от лица Анатолия Нисоновича Басина просил меня принять участие в «международной выставке» в Питере, в здании знаменитого Манежа. Голос представился: куратор Лариса Скобкина.

Это был первый певучий, а не собачий голос родины, за двадцать лет моей эмиграции.

...Лучшее помещение императорского города, двадцать стран-участниц, каталог, афиши, информационная поддержка, платный вход, выходной по четвергам и строитель Джакомо Кваренги!..

Олег Соханевич, Сашка Путов и я представляли не что-нибудь, а Францию.

Всемирный барак справедливости, или, как выражаются профессионалы эстетики, — симулякры на реакцию фантасмагорического глянца!

А кто хлопочет за всех? Бася, каббалист и живописец чистой воды.

Гул аплодисментов!..

Черноморец Соханевич впервые покажет своим землякам абстракцию без улыбки. Режет по мозгам. Не всякая квартира и музей выдержат такой полярный холод.

Потомок царя Соломона Путов — кривобокие каракули освобожденного духа, горячий хоровод цвета и света пещерных времен.

И я, брянчанин, выслал четыре вещицы разных лет.

Куратор Скобкина сообщала: «Ваш раздел выставки вызвал большой интерес и симпатии зрителей».

Браво, Лариса Скобкина, браво, Толя Басин, но в каббалисты идти не советую. Это палка о двух концах. Блаженная улыбка с изнурительными подсчетами. Арифметика Баси выводила меня из себя.

«Валя, у меня твои сто долларов (гонорар за очерк в “Окнах”. — *В.В.*). Деньги за проданные тобой каббалистические “Числа” — 20 штук, тоже 100. Так что квиты».

Мистический журнал «Числа» я никогда не продавал, а вручал бесплатно желающим полистать и выбросить. Бася правильно рассчитал в свой карман высшие духовные ценности, а где мои трудовые сто долларов?

* * *

Советский инженер Красновский припарковался в Париже с твердым намерением стать невозвращенцем. Мне

его представил издатель Толстый (В.С. Котляров) в 91-м, год «московской гражданской войны». Невысокий и круглый, как валун, молодой человек решил стать экспертом «советской культуры». Может быть, он был отличный знаток ружейного производства, но его познания в изобразительном искусстве, где он намеревался разбогатеть, равнялись первому классу начальной школы. Таких, да еще с легкоранимым самолюбием, учить надо осторожно, постепенно, вдалбливая азы художественных секретов.

Терпеливо дожидаясь приезда любимой женщины, известной израильской пианистки, Влад, или Яныч, вошел в круг русской эмиграции самым простым, но эффективным способом. Он деликатно объявил в газете, что составляет словарь русских художников, и самые привередливые творцы открыли двери своих мастерских. Я помогал ему чем мог: и новыми знакомствами, и литературой полезного чтения. За пять лет кропотливой работы с людьми Яныч знал всех в Париже и провинции, живых и покойных, близких и дальних, имевших русский культурный товар. Неуклюжие владельцы эстетических сокровищ охотно ему доверяли вещи на выставки и продажи, начиная с медалей и офицерских погон царской армии и кончая иконами и картинами известных живописцев.

Попытка коммерческой кооперации с издателем Толстым кончилась скандалом. Обиженный в доходах и процентах, Толстый обвинил Яныча в похищении произведений искусства московской выделки. Мелькали имена Серебряковой, Бенуа, Добужинского, Кончаловского.

Упорный фанатик рисовального конверта — мейл-арта Вовик Толстый начал засыпать человечество, и меня в том числе, своими картинками с 83-го года — год фабрикации хулиганской «Мулеты». Графика его письма хорошо разработана, но художественные элементы — пятно, силуэт, линия, коллаж, фото — остались для него недоступным материалом. Такое понятие, как качество вещи, он так и не усвоил. Он делал огромное количество выставок своих изделий и ничего не продал.

«Я признанный классик мейл-арта, — говорит он о себе. – Я подлинный человек, всегда говорящий правду. Лай окружения и непрерывная клевета в мой адрес меня не задавят и с пути не сдвинут. Меня не “опустить” и не “отпетушить”, как говорил Вовка Максимов, когда мы еще общались».

Яныч, одно время работавший личным шофером Толстого, дождался пианистки и удрал от него, снял квартирку и поменял ржавые «Жигули» на опрятный «рено». Пианистка Елена Михайловна быстро освоила французский и нашла работу преподавателя музыки.

Торговец русским искусством Гариг Басмаджан, исчезнувший в московской клоаке в 1989 году, пытался навязать Западу произведения русской школы, когда цены были низкими и лишь редкие любители вроде музыканта Ростроповича их приобретали. В конце 90-х на мировом базаре искусства появились и дикие русские коллекционеры.

22 января 1996 года я получил от Толстого разноцветный мейл-арт с печатным грифом «произведение искусства» и припиской: «Кроме того, я перешлю копию этого письма Эйдельману и Чернышеву, бывшим нашим общим приятелям и потому могущим выступить третейскими судьями в этом деле... Красновский ведь приехал во Францию туристом по нашему приглашению, не в состоянии идти по дороге доброго разума. Выбрав подпольный стиль жизни, сплетничая, завидуя, живя за счет эксплуатации несчастной женщины, лгя и предавая друзей, он разрушил свою душу...Красновский вынес из моего дома 9 полотен соцреализма, за которые до этого было заплачено мною, и 19 полотен художника Мирошниченко, которые принадлежат по соответствующему договору четырем хозяевам. Возвращать их он отказался».

В свою очередь, Яныч прислал мне подробную документацию с приложением фотокопий «академика эстетики», некоего Владислава Лена.

Большой хохмач и фотограф по профессии Сашка Эйдельман открыл потрясающие данные. Таинственный Лен оказался не академик, а московский тунеядец и наркоман по фамилии Епишкин. Раз, ночуя в пустующей квартире Кончаловских, любопытный Лен открыл кладовку и обнаружил там склад запылившихся картин, вещи всевозрастающей ценности на аукционах искусства. Перед отъездом в Москву он оставил ворованный товар приятелю Толстому с намерением продать и выручку поделить. Толстый, угостивший Лена пивом в парижском кафе, пустил слух, что заплатил ему сорок девять тысяч франков.

В этой склоке я занял позицию посредника. Картин я не видел, у Кончаловских не был, чердак не ломал, Лена не знал. Оказалось, что новый «владелец» девяти полотен «никаких сорок девять тысяч не получал, и Толстый о них никогда даже не заикался».

Неизвестно, где интриган Лен встретил Красновского, получил от него тысячу франков в качестве аванса за эти картины и поручил ему забрать их у Толстого.

«Я прошу Толстого передать все девять работ Владиславу Красновскому немедленно и безусловно, — пишет "«академик эстетики". — Толстому же прошу передать дружеский совет не брать пример с Глезера, разворовавшего Монжерон и Нью-Джерси и ударившемуся в бега. Что — как известно — бесполезно!»

Янычу пришлось хитрить и выжидать удобный случай, чтобы выгрести девять полотен и заодно прихватить девятнадцать картин Мирошниченко.

Друзья детства жестоко рассорились.

Мирить склочников и копаться в темном воровском деле и грубой лжи я не стал, но подлил масла в огонь. Причина для атаки нашлась.

«Суббота, 2 ноября 96, Париж.

Владислав Яныч, привет! Наш общий знакомый Толстый десятый год не отдает мне денежный должок в размере 6000 франков, полученных им в присутствии свиде-

теля Левы Бруни. Толстый торжественно обязался вернуть должок при первой “благоприятной возможности”. Такие “возможности” у него были (денежные съемки в кино), но всякий раз он отмалчивался, освободив, таким образом, меня от всяких моральных правил. Теперь я действую самым открытым образом, придав оглашению бесчестное поведение должника. Посылаю 50 доносов нашим друзьям, и тебе в том числе».

Толстый не ожидал нападения с моей стороны и растерялся. Наши постоянные собутыльники Эйдельман и Чернышев, испугавшись гласности, скрылись в подполье. В очерке о парижской богеме я сек беспомощное творчество Толстого, смешал его с дерьмом, устроив ему бессонницу с поносом по ночам. Сорок лет зная Мишу Гробмана, моего издателя в Израиле, я был уверен, что очерк он доставит Толстому.

«Валя Воробьев, твой друг, издатель и подельник юности, строгий, как командир роты, непримиримый, как комбат, и грубый, как полковник в Чечне, Миша Гробман прислал мне журнал “Зеркало” с твоим опусом, но не прислал квитанцию, свидетельствующую о количестве полученных тобой сребреников в свободно конвертируемой валюте за беспардонность и клевету, безвкусицу и ложь, искажения и болезненные фантазии, украшающие этот опус».

Затравленный Толстый лег в больницу с камнями в почках. Там долго мучился, камни вычистили, но долг мне не отдал.

Наглая богатырская натура!..

Я храню ящик мейл-артов Вовика Толстого, где хаотически смешаны наивность и прозорливость, любовь и ненависть – качества очень ценные в нашей серой житухе. Упорный и откровенный собутыльник с одним существенным недостатком — брать взаймы без отдачи. Друзья один за другим отреклись от великого человека. Он выходил в сад и пил горькую один. Потом сел в самолет и улетел в Россию, где его еще почитала невинная молодежь. Что Толстый жив и непобедим, знали все в Париже.

«На вернисаже Миши Рогинского, – пишет мне Яныч, – видел двух сальных, бездарных и жирных: Толстого и Яковлева Олега. Оба пьяные. Слухи о том, что Толстый — обездвиженный, немощный калека, которые он сам распускает, сильно преувеличены. “Пора подумать о будущем”, произнес загадочную фразу Рогинский и отправил Толстого и Яковлева за водкой, так как галерейщик Жорж не сообразил принести сей напиток на вернисаж русского художника».

«Академика» Лена посадили в дурдом, где он воровал у врачей сигареты и поштучно продавал пациентам. Выручку откладывал на черный день.

Мы все жертвы неудачных абортов.

* * *

Самиздатский журнал «Стетоскоп» издавали парижские скватеры Ольга Львовна Платонова (Митрич) и Михаил Абрамович Богатырев (Богатырь).

У людей – ни фуража, ни довольствия!..

Мое сотрудничество с ними началось с мелких поправок и придирок, а затем главный редактор Митрич, новгородская мадонна с решительным характером, признала меня лучшим автором журнала, напечатав большой очерк «Васька-Фонарщик». Так я стал «художником слова» (по Митричу) в русском журнале.

Затем я протолкнул туда Льва Нуссберга. Этот хорошо знакомый мне и самый скандальный артист андеграунда был единственным русским звеном, соединявшим московский модернизм с мировым визуальным опытом 60-х годов – кинетизмом. С самого начала из него и соратников по группе «Движение» лепили европейский образ вожака советских новаторов. Старались и молодежная пресса Совдепии, и знатоки искусства на Западе.

В Европе, куда Нуссберг перебрался в 76-м году, он пытался создать артель кинетистов из людей разных и

злых, неудачливых и амбициозных, вроде Хвоста, Толстого, Тиля, Путилина, Захарова-Росса, Галины Битт, Павла Бурдукова, тащил к себе молодых поляков и чехов, совсем не умевших рисовать, а лишь пивших водку и куривших гашиш. Мешал ему и местный маклак неофициального искусства Саша Глезер.

В Нью-Йорке, куда он переехал в 82-м году, не было конкурентов по колхозному строительству, но артель тоже не получилась.

«В 82-м в нью-йорке лев попробовал организовать меня, — пишет внимательный наблюдатель Костя Кузьминский, — бахчаняна, тупицыных, герловиных и т.д. в группу-движение, а кончилось все мордобоем на балу у бурлюка... хотел артцентр, копировальные машины, тусовку — но здесь другие законы жизни и искусства... все, что лев знал в борьбе с соцсистемой, — неприемлемо в Америке».

К пояснению К.К.К. добавлю, что, располагая значительными средствами (коллекция авангарда 20-х годов), колхоз кинетистов не вписывался в культуру Запада, как в стадо волков не заходит мышиная семья.

После провала кинетической затеи Нуссберг основательно вложился в большое и полезное издание русской поэзии под редакцией Кузьминского, потом, женившись на своей ученице Дике, скрылся в американскую глушь, занимаясь подрастающей семьей замечательных сыновей и дочерей. Вспыхнувший в России интерес к «гонимому искусству» вновь разбудил горячего человека. Он издалека начал бой за достойное место кинетистов на русском олимпе культурных ценностей.

На самые сытные места у западной кормушки, ломая и убивая друг друга, кинулась орава авангардистов. Вчерашние единомышленники с необыкновенной легкостью рвали братские связи, превращаясь в смертельных врагов.

О, джама Шура хама кроха!..

Его ученики Горюнова, Фантик, Колейчук успешно прорывались туда, затоптав в грязь учителя. Возмущенный Нуссберг кинулся воевать с предателями и двурушниками по-партизански, где, как известно, все средства хороши. Прочитав написанный мною некролог, он решил, что я – подходящий партизан литературной пропаганды.

«Валька, — пишет он мне в 98-м году, — посылаю тебе лично, чтобы никому не давать в руки ни читать, ни копировать – могу на тебя положиться, на твою порядочность и старинное товарищество, – рукопись моя 1969 года, которую сам в прошлом году, как мог, почистил, подредактировал. Что-то около 185 стр. на машинке, "Смещение времен", Москва, Кусково, ноябрь 1969 – январь 1970. Просьба к тебе, Валентин, почитай внимательно и прокомментируй мне на полях или так – только без лицеприятства и честно, и пришли мне как можно скорей, т.к. пара моих бывших учеников в Москве задумали издать эту книгу с иллюстрациями и т.д., и работа уже началась там. И твое мнение для меня важно по нескольким причинам...Особенно о таком "литературном потокосознании" — хоть и сыровато, никто еще не редактировал, не чистил, и хромает в смысле литературной техники, но все же передает, как мне кажется, настроение и аромат того времени».

Письмо теплого колорита, но чистить и батрачить книгу Нуссберга, освещать темные души его врагов я не хотел.

Его сочинение не выдерживало моей партизанской критики. На сто страниц белиберды я добавил сто страниц поправок. Текст ему отослал, и возникла новая книга о звериной сущности коммунизма, черти на гауптвахте.

«Победители мира сего станут обыкновенными столбами», — утешает нас Библия. Она помогает жить, и Лев Вальдемарыч желал быть только победителем, а не столбом.

Нуссберг – среднего роста, очень подвижной, с пышным коком «а-ля Элвис Пресли», с открытым лицом и уса-

ми Чингисхана, прирожденный провокатор и разведчик — прислал мне свои соображения о личности М.Я. Гробмана.

«Я хотел послать тебе еще в октябре 98, но никак не мог найти письма с твоим адресом».

(Врешь, старик, мой адрес записан у тебя на стене, очерки «Зеркала» на столе, и твоя книга с моими поправками — тоже на столе, сам видел.)

«До сих пор от тебя, Валентин, ни... т.е., перевожу на русский язык, — ни хуя... Ты что же, обиделся, или адрес потерял, или что? Или Гробман тебя отстрастил (появился он с Иркой в канун Рождества “в гости” к нам в Оранж — они торчали у своей дочки в Лос-Анджелесе, пытаясь к голливудским стервам тереться, — так я в шоке, да и вся моя большая семья были от его дремучей наглости и заявок типа: только евреи — люди, а все остальные — быдло, обязанное на них работать и т.д.) Валька, видит Бог, впрочем, которого нет, это я его всегда и везде продвигал на выставки, проталкивал публикации о нем и упоминания, будучи благодарен за то, что он организовал 12—13 вызовов для меня и моих товарищей из коллектива “Движение”, чтоб ехать в Израиль. Ух, черт возьми, что-то прорвало меня. Ведь я Мишку знаю 40 лет, кстати, столько же, сколько и тебя, Борода, и всегда защищал его от нападок за его тупо упрямое настырство и надоедливые клянчи и чего угодно — книг, картинок, икон, гравюр, репродукций и т.д. Да ты, Валентин, и сам это отлично знаешь. И вдруг сам столкнулся с его... Я думал, что он... ну, не то что завихнулся психически, с него поехала крыша (о себе он говорит спокойно и серьезно как о непонятом истинном гении еврейского народа)».

Лев, ты — балтийский барон, и должен знать лучше меня, человека неизвестного происхождения, что самый последний еврей ближе к Богу, чем первый гой на земле. Ты давно знал, что Гробман бездарен, но «продвигал его выставки» задолго до мелкой услуги с «вызовами», потому что он — пострадавший библейский человек.

«Борода, скажи честно, ты же знаешь, за столько лет я никогда тебя не подводил и не закладывал: Гробман и раньше был такой же патологический жмот и эгоцентрик, вымогатель, презиравший всех “не евреев”, или так опустился в последние годы?»

Лев, игра в еврейство — профессия, хорошо кормившая Гробмана с давних лет. «Раньше» или «позже» — не имеет значения. Это апофеоз библейского мазохизма, который Мишка крепко усвоил и кормится на нем. Не взыщи, старик, но вслед за Виталиком Стесиным я повторяю: «Очень люблю Гробмана и считаю его умным человеком».

В 2000 году экономически подкованный В.Я. Красновский, большой мастер чистить картошку, за что я прощаю ему польское и панское высокомерие, подарил мне пишущую машинку «Любава», давным-давно вышедшую из производства. Своим подарком он остался доволен.

«Валя, теперь совсем другое дело — не надо мучиться, разбирая твой ленинский почерк. Слава “Любаве”!»

На ржавой машинке я написал очерк о Нуссберге, не освещая темных сторон его врагов, и сдал издателю «Стетоскопа».

«Дорогой товарищ Валя Воробьев, зная вас как замечательного летописца и художника слова, готова без предварительного прочтения публиковать в журнале написанную вами биографию Льва Нуссберга. Пойдет она, скорее всего, в 25-й номер (выходит в июле—августе). Желание Нуссберга приобрести пятьдесят экземпляров журнал горячо одобряет. Если возникнут какие-либо вопросы — звоните, пишите. Искренне ваша Ольга Платонова».

Нуссберг был в восторге от очерка, Гробман тоже ликовал. О нем опять вспомнили. Митрич и Богатырь хорошо заработали. Враги были посрамлены. В московских музеях появились произведения кинетистов «Движения». Забитые, загнанные кинетисты обретали статус высоких профессионалов.

Что вы еще хотите?

Часть четвертая

Сторож Святой Виктории

Бес в друге, а друг — сатана.
Григорий Распутин

Блажен невидящий никого.
Павел Флоренский

И здесь и там — всему чужой.
Н.А. Некрасов, 1867

1. Моя теща

После кончины знаменитого тестя Рене Давида (1990) моя пожилая теща не опустилась, как часто бывает с овдовевшим супругом, а заново встрепенулась и кинулась выручать людей с проблемами: кому устроить жилье, кому — купить автомобиль, кому — сунуть деньги на дело, как помочь застрявшему в западном болоте зятю.

Вперед заре навстречу!..

У солнечной горы Святой Виктории ей долго не сиделось. Как только начинались осенние холода, изысканно одетая, стройная женщина появлялась в парижских концертах, выставках, встречах.

Однажды в дождливый, холодный денек, выпивая на «чердаке 33» с американцем Сахом и парижанином Бугриным, я услышал требовательный телефонный звонок. Где-то верещали, стирая гласные и согласные: «Ву сет мсье Воропиоф?» — ничего себе, сам Бобур просится в гости.

Таланты артистического мира годами ждут приема, а тут сам гордый и неприступный музей лезет ко мне, непрошеный.

Потомок Геракла, скульптор Сах, разлил бордо, мы выпили и стали размышлять над загадочным звонком. Он походил на шутку хулигана, если бы не рандеву у меня на

чердаке. Завтра явится Бобур, и я обязался показать ему свое творчество.

— Старик, — философствовал опытный мореплаватель Сах, — ты особенно не обольщайся. Так все просто не бывает.

— Да, Сах прав, – затягиваясь сигаретой, добавил Бугрин, — это бесплатный звонок. Выпьем за Императорскую Академию Художеств.

Назавтра в дверь постучались, и вошел молодой человек незаметного вида, если не считать красного кашне, лихо брошенного через плечо.

— Мсье Воропиоф, — говорит знакомый голос, – я эксперт Бобура, вот мое направление к вам.

Читаю бумагу с гербом музея, с размашистой подписью президента Доминика Бозо. Ниже значится и имя посланника — Ж.П. Бордаз.

— Садитесь и смотрите, мсье Бордаз, – начал я, не меняя позы работающего живописца.

— Нет, мерси, я постою.

«Ну стой, говнюк», – подумал я и выставил штук двадцать холстов. Эксперт Бобура щурился, чмокал толстыми губами, подыскивал имена корифеев, чтобы пристегнуть меня к колеснице настоящего, большого искусства, не задевая самолюбия, например к бельгийской «Кобре» 50-х годов, о существовании которой я узнал лишь в Европе. Пить бордо гость наотрез отказался и не снял белый, засаленный плащ, соблюдая дистанцию посланника высших сфер.

— Мсье Воропиоф, — вдруг повело его на откровенность с дальним расчетом, — научите нас зарабатывать деньги.

Просьба меня не озадачила, а позабавила. Могущественное учреждение страны, получающее большие средства из государственной казны и богатые частные вклады, учится делать деньги у бездоходных живописцев.

— Согласен, научу, но для начала делаем выставку широкого жеста, а походя я научу вас делать деньги.

— Нет, — уперся гость, — сначала деньги на бочку, а потом выставка широкого жеста. Пусть ваш банк раскошелится на благое предприятие.

— Согласен, но напишите отзыв для банка, — я сунул ему фирменную бумагу.

— Какой отзыв? — вспотел гость. — Нет, я ничего писать не буду.

— Напиши то, что ты только что говорил, а не будешь — уебывай, пока цел.

Я сказал не «фу л кан» — убирайся, — а «ва те фер футр», что в большом ходу во Франции, но пока не вошло в русский словарь.

Мой эксперт полетел с чердака, как подбитая оса, размахивая плащом и шарфом.

Позднее неожиданное появление Бобура на моем чердаке прояснилось, когда ко мне пришла теща.

Время от времени она говорила с влиятельными людьми о судьбе зятя, наивно предполагая продвинуть его к деньгам и славе. Всемогущую мадам Арвайлер, даму многосторонних общественных и светских связей, к этому времени основательно устаревших, так что над ней открыто потешалась молодежь, она встретила где-то в Италии и обменялась адресами. Мстительная дама бралась за любое дело, чтобы насолить обидчикам и показать, что все чудеса жизни под ее властью. Ей давно хотелось наказать нового директора Бобура, проскочившего на высокое место без ее благословения, и просьба мадам Давид показалась ей отличной зацепкой для интриги.

В этой закулисной игре нарушалась бюрократическая субординация. Мадам Арвайлер не знала толком, что происходит в России, и никогда не видела моих работ. Директор Бобура, мсье Доминик Бозо, считал себя знатоком, психологом и социологом искусства, бывал в России, встречался с диссидентами, но терпеть не мог вмешатель-

ства посторонних и вздорных лиц в свою деятельность. Он сразу решил прихлопнуть нелегальное вторжение русского партизана и пустое досье, где я не числился музейным артистом официальных программ, и одновременно испортить настроение мадам Арвайлер.

Все любопытные люди знали, что Бобур располагает значительными средствами для закупки дорогостоящих «шедевров» современности, сам отбирает многочисленных спонсоров и выставки, и денежная просьба эксперта Бордаза была обыкновенной уверткой — я не говорю о возможной взятке с моей стороны, — чтобы зарезать сразу выдвиженца продувной и темной мадам Арвайлер.

Мне скажут, что я промахнулся с шансом показаться на люди в международном центре искусств, но я уже знал, что выставки за свой счет, без одобрения администрации, всегда были провальными. Не считая зря потерянных денег на аренду помещения, каталог и рекламу, художник попадал в списки случайных попутчиков современного артбизнеса, а этого мне совсем не хотелось.

Гармоничный союз французского официоза с приезжим русским живописцем не состоялся.

Моя теща разводила руками, мадам Арвайлер довольствовалась шпилькой, взбодрившей Доминика Бозо, а я проветрил чердак от вонючего эксперта Бордаза.

* * *

Как люди ее природы и класса, говорить о себе и чем-то хвастать теща не любила. Из редких и случайных рассказов близко знавших ее людей я составил ее биографический силуэт.

Вторая дочь парижского банкира Камила Лаббе и внучка парижского префекта Луи Лепина родилась в 1912 году. В конце 70-х я не раз навещал шато Корде в Нормандии, имение семьи Лаббе. Там прошло счастливое детство Элен, со свистом соловьев и воркотней голубей. В -

огромном салоне стоял черный рояль «Плейель», где начались музыкальные гаммы и неистребимая страсть к музыке, пианистическому искусству особенно.

На пыльном чердаке шато я обнаружил большой плетеный сундук, набитый семейными бумагами. Меня привлекла дарственная фотография старика с пышными усами. Оказалось, что моя будущая теща знала премьера Франции, Жоржа Клемансо.

Девочка прогрессивных взглядов!..

Элен было шестнадцать, когда скончался папа-банкир. Несмотря на зажиточное положение семьи, трое детей росли сиротами — безотцовщину с несправедливыми насмешками и унижением злых людей я испытал на своей шкуре. Старшая и красивая Анриет осталась незамужней при стареющей маме, а младший, всеми любимый Жак хозяйничать в деревне не любил, и нормандское поместье увядало.

С юных лет Элен не только освоила игру Шопена, но и стала отличной лыжницей альпийских вершин. Я видел ее в красных гетрах, видавшей виды африканской панаме, с потертым рюкзаком за плечами. У меня, жителя болотной и плоской страны, не было привычки к многочасовым горным походам, но теща втянула в это особое занятие с пользой для тела, духа и эстетики.

Только в горах живут орлы!..

Моя дочь Марфа по следам бабушки бродит по горам с пяти лет, и зимой, и летом.

Там же, в снежных Альпах, была решающая встреча в ее жизни.

Год 1937 — любовь с первого взгляда!

Влюбленный жених — профессор правоведения в Гренобле. Предложение профессора на брак Элен приняла на лыжной тропе. Весной того же года они обвенчались и «сыграли свадьбу» в Нормандии.

Иностранцу, каким бы ушлым и дотошным он ни был, не понять Францию черных лет немецкой оккупации 1940—1944.

Люди всего мира, любите друг друга!..

Призыв палестинского пророка Иешуа из Назарета поняли как «люди всего мира, ебите друг друга», и в прямом, и в переносном смысле слова.

Теща держалась союзной стороны не по расчету, а по убеждению, как и муж, сражавшийся с немцами. Ее помыслы распространялись в географические зоны, недоступные для русского воображения: Сирия, Ливан, Перл-Харбор, Эль-Аламейн, Корсика, где тяжело ранило Рене Давида.

Какие там, к черту, русские хаты, когда страдает великий Лондон!

А как там, кстати, Сталинград?

Там идет крупная игра. Немцам обломали рога. Весь мир обмывает успех маршала Сталина.

Британцы везде у себя дома. Француз, говорящий по-английски, ему не уступает, а скорее, превосходит. Теща исколесила весь мир, в одной Эфиопии пятнадцать раз! — и не на пошлые и людные курорты, а вглубь страны, в народное дерьмо.

...Аргентина и Финляндия, Иран и Америка, Греция и Шотландия, Италия и Россия...

Попадались страны «с большими проблемами», но я никогда от нее не слышал возмутительной критики чужой жизни. Она везде находила достоинства.

Ей везде хорошо!..

Везде есть красивые люди и колоритная жизнь.

От Москвы 60-го года у нее остались концерты Святослава Рихтера, превосходные иконы в Кремле, украинский борщ и блины с икрой.

Теща научила меня любить Россию. Она любила Россию не менее Эфиопии, но мне хотелось, чтобы любила чуть больше. Ведь Модест Петрович Мусоргский творил в Санкт-Петербурге, а не в Аддис-Абебе, да и зять — уроженец Брянска, а не Бриансона в Альпах. Своего я добился. Ее фонотека пополнялась записями Шостаковича (пред-

ставлен весь!), и под конец — Альфред Шнитке и Эдисон Денисов, русский роман и выставки — самый светлый народ великой Совдепии.

Горячий и красочный Прованс с его виноградниками и садами она выбрала не случайно. Ее привела туда тишина.

Город Экс собирал лучшие голоса мира. Деревня Ля Рок д'Антерон — пианистическая Мекка.

В 1969 году в поселке Толоне супруги купили дом с огромным валуном внутри и единственным оливковым деревом на земле. Через десять лет вырос лес и сад. Рядом осела младшая дочь Марион с итальянским мужем. Они долго хипповали в Америке, в театре известного деспота Питера Шумана, ходившего на ходулях по всем городам мира. Суровая школа. Египетское рабство у немца из Бреслау. В 75-м они создали свой кукольный театр авангардного направления.

Цикады и виноград. Любая истерика и дикие вопли у тещи не проходили. Бросать тарелки и ломать стулья не принято. Мебель Луи Сез и персидские ковры. Пестрые цвета не допускались. На слово «деньги» — табу, несуществующая материя. Поощрялось созерцание природы, флоры с фауной, но издалека, как декора семейного очага. Огородные дела — для профессионалов, огородников и садоводов. Там попахивает навозцем и порхают мохнатые мухи. На столе тещи красивый букет в венецианской вазе, природа по выбору. Добротный гардероб и обувь лучшей колодки. Беллетристика всех времен и народов. Книги по искусству древности и современности. Большая тяга к эстетике. В музыке она купалась, как рыба в проточной воде. Я, очень тугой на ухо, открыл у нее совсем новую музыку Булеза и Ксенакиса.

Прованс — земля без заборов.

Ближайший сосед, мсье Копп, ненавидевший бродячих собак, возвел забор и сразу стал посмешищем поселка. Теще ближе были люди без заборов: Морис и Одиль Дюверже, владельцы красивого вида на гору Святой Вик-

тории; британцы Батлеры; киношник Андре Саррю, нашпигованный анекдотами, как новогодний мешок — подарками, с неприступного вида супругой, сочинявшей стихи в китайском стиле; Оливье и Элен Кребсы, он — когда-то лоцман в Суэцком канале, а теперь художник; американский композитор Марвин Франк; видные юристы и простые ученики — всегда желанные гости в доме с валуном.

В эту теплицу невозмутимой радости я попал в 1975 году и стал вводить оригинальные детали русской цивилизации. Для начала я обучил французов играть в «подкидного дурака». И дети, и взрослые играли охотно и весело, в непогоду и допоздна.

Слабым местом тещи оказалась кухня. Ни нюха, ни уменья к стряпне. Ест с благодарностью что дадут. Все мои попытки научить ее варить борщ провалились, я думаю, так лучше. Знатоки кухни слишком завистливы и заносчивы, а теща не знала таких качеств.

Затем представился случай покорить ее огнем.

Знойным летом 76-го весь клан тещи перебрался в пограничные с Италией южные Альпы. Муж, дети, внуки, зять. Крестьянский наемный дом с запахом хвойных лесов навсегда вошел в мою жизнь. Раз в горах застал нас августовский ливень. Вчетвером мы спрятались в каменной лачуге, где за пятнадцать минут я раздул костер и обогрел до нитки промокших людей, как древний неандерталец — своих.

Ведь когда-то огонь был сам Бог!..

Мои перформансы она воспринимала как театр, а не как урок для усвоения. В тещином доме с валуном я стал признанным мастером костра.

Итальянский скульптор Артуро Кармасси, француз Оливье Дебре, испанец Антоний Тапиес, скульптор Мелле украшали стены в непринужденном соседстве с моими опусами.

Бывает так, что один поворот головы, один звук меняют понятие о вселенной. В моем замутненном, подпольном сознании орденоносная советская музыка располагалась на полке мировой скуки, но однажды Дмитрий Шостакович прижал меня в угол. В фонотеке тещи я напал на диск Пятой симфонии, украшенный работой Василия Кандинского первого периода. В Совдепии мне попадались исключительно тусклые конверты Апрелевского завода с изображением Кремлевской башни. Здесь же Кандинский и Шостакович вдруг сплелись в один органический клубок. Я слушаю «орденоносца» Шостаковича, а перед глазами — чистая абстракция Кандинского. Даже позорная оперетка «Москва-Черемушки» (1959) звучала совсем иначе в Провансе.

Музыка победила Кремль. Шостакович перешагнул коммунизм, как Гулливер — забор лилипутов.

Старый Завет, Библию я считал красивым фольклором еврейского народа, и канонический Новый Завет и апокрифы стали общей площадкой для наших схоластических турниров. В темные, ненастные вечера мы вычисляли год рождения Иисуса из Назарета, спорили, был ли плотник Иосиф женат до судьбоносной встречи с юной Марией. Евангелие говорит о братьях и сестрах Иисуса, а чьи они дети? А был плотник Иосиф в Египте или прятался в Израиле? Было занятно, когда мы вместе измывались над знаменитой «Свадьбой в Кане» (Веронезе, Лувр). Пышная итальянская гульба на фоне непомерной дворцовой роскоши никак не вязалась с беднотой обитателей палестинских деревень. Немцы и фламандцы пошли еще дальше в ликвидации еврейского декора. Они просто рисовали своих лобастых земляков в лаптях и обстановке снежной деревни. Действительно смешно, когда по колено в снегу к немецкому сараю пробираются толстые мужики, чтобы взглянуть на тетку с младенцем.

В конце концов мы забраковали все западное искусство, посвященное христианским сюжетам. Дух нищего

Мессии Иисуса Христа был начисто изгнан из церкви. Перед такими мужиками и бабами невозможно молиться.

...Музыка, поэзия, живопись, архитектура, философия, мистика, солнце, горы, виноград — пой, рисуй, твори!

Где можно отыскать дом такого качества?

* * *

В 1992-м теще стукнуло восемьдесят. В Провансе выпал снег, дороги оледенели, небо почернело. Она гоняла свой «пежо», как заправский гонщик. Старостью и не пахло. Сплошной динамизм и заботы. Дочки повезли ее в Марокко. При мне оставалась пара детей и рыжая собака Бек. Чтобы освежиться и размять кости, мы играли на террасе в пинг-понг или бегали в саду, играя в снежки.

Детей постоянно поводит на авантюры.

В 1948-м со школьным другом Пашкой Гудилиным я соорудил плот из хвороста, и мы уплыли в Черное море по мелководной, но быстрой Десне. Мы знали, что наша речка впадает в Днепр, а тот, в свою очередь, пополняет море, а еще дальше — Царьград, царь Салтан и щит вещего Олега, прибитый на воротах великого города. Вообще, за этим щитом мы и подались. Десна — не горный поток, но несло нас так быстро, что от рулевой доски ладони покрылись волдырями. Встречные рыбаки, стоявшие на якорях, с подозрением смотрели на двух малолетних преступников, плывущих в Царьград. Днем светило солнышко, а к вечеру похолодало, и утлое плавучее средство прибило к незнакомому берегу. Спички намокли и не загорались. Мы погрызли краюху хлеба и завалились спать на берегу. От гибели на чужбине нас спас застрявший на берегу рыбак, причем он долго, как опытный следователь, пытал нас, откуда мы родом и куда плывем.

Присмотр и внимание, игра и учение, труд и сон.

Беспокойной Жюли не сиделось у камина. Надоели «подкидной дурак», книжки и телевизор. Она увлекла

мою дочку Марфу и собаку в поход, без моего дурацкого присмотра — они умнее и давно взрослые. Пока я докрашивал гуашь в своей конуре, дети выбрались из дома, поднялись к лесу, где рыжая собака сбежала от них. Сначала было интересно, искали собаку и пели песни, затем тропинка исчезла, и в темном лесу стало страшно.

Я развел камин, раздал колоду карт, ожидая, когда спустятся дети, но они не пришли. Чай остыл, кисть падала из рук, телевизор не успокаивал. Я лез на стенку от бессилия, и лишь ночью раздался долгожданный звонок. Скульптор Мелле сообщил, что пару окоченевших от холода девочек нашел на своей территории.

В глухом лесу, набитом кабанами, они шли наугад, пока не приткнулись к дому со светом в окнах. Их опознал скульптор, знавший тещу, и привез домой.

Детей привезли, но рыжий пес не вернулся.

Внушать и убивать я не умею. Я накормил угрюмо молчавших беглянок, а сам напился, тем паче что подвернулся особый случай — бегство детей и смерть моего приятеля Сашки Васильева в Москве, большого книголюба и просветителя человечества.

Все-таки греки — большие мудрецы, вино лечит от безумия.

Детские забавы меня совсем не увлекали. От всяких там солдатиков, кубиков и кукол у меня начинается мигрень. Гонять в футбол вряд ли можно считать детской игрой, это скорее забава взрослых. Пинг-понг их не вдохновлял. Так с парой девиц я осрамился в качестве воспитателя и сторожа. Вернувшись из Марокко, теща и жена возобновили разумную жизнь в семье.

С рокового падения зимой 97-го года (упала и слегла) начался ее медленный уход на тот свет, где ее ждала вечная музыка. Через год она оправилась, пыталась сесть за «баранку» и ускользнуть от нас навсегда, но у нее отобрали ключи от автомобиля и посадили в кресло Луи Сез с книжкой в руках. Говорила она все меньше и тише. Ни

подкидного дурака, ни «высоких тем» о европейском пространстве. Постепенно подкралась слепота, выбивая радость чтения. Рояль переставили в домик Марион. Ни Шопена, ни Листа я больше не слышал. Не снимая белого халата, иногда она вставала со своего одра и метров сто шла по аллее, затем возвращалась в постель с видом на гору Святой Виктории, всякий миг менявшей окраску и объем. Смотрела часами туда, повторяя одну и ту же фразу: «Сет ун гран плезир пур муа».

Горячим и ветреным летом 2000 года она легла и не вышла. Ночью первого августа она умерла с улыбкой на устах. Рядом склонились дочки Анна и Марион. По завещанию ее не хоронили в гробу и на кладбище, а сожгли в соседнем городке, и остатки пепла мы разбросали в оливковом саду.

Третьего августа, в день похорон, меня схватил колотун, и я лежал как бревно, пока родня то собиралась кучками на лужайке, то разбегалась по сторонам.

А с кем мне заняться евангельской схоластикой?

Прав был «сверчок» Пушкин: «а я бы у тещи пел соловьем в тенистой роще».

Соседи и рабочие считали жену и меня сезонными гастролерами, а не настоящими хозяевами, и правильно считали. Я любил дом тещи с валуном внутри, но не чувствовал его своим. Его строил какой-то фальшивый буддист, и обживали тесть с тещей. В длинные каникулы жена пыталась добавить что-то свое, подкрасить и подмазать хозяйство, но такой макияж выглядел неестественно.

Убежденная европейка, теща полагала, что, если упразднить дурацкие границы и «аусвайсы», откроется мир вечной молодости и красивой музыки. Нашествия нищих и прожорливых албанцев, поляков, румын ее доброе сердце совсем не замечало. Бомбы террористов ее возмущали — как можно убивать невинных людей! — но решения этой занозистой проблемы она не знала.

Эстетов мне очень жаль. Им нельзя болеть и умирать. Они носят в себе красивое видение мира, но сатана всегда у ворот вашего дома.

2. Друг злого писателя

В декабре 97-го я получил письмо от профессора русской литературы Жака Катто. Кругленький, беленький, пушистый французик считался лучшим знатоком Ф.М. Достоевского во Франции. В студенческие годы он бывал в России, пытался что-то писать о выставках русских модернистов, потом стал у кормила Сорбоннской кафедры со своей педагогикой. Приглашению я не удивился. Както на званом вечере я рассказал ему, что год спал в Ельце на кровати гимназиста Вани Бунина. Профессора очень позабавил этот факт, и, как результат, «Друзья Бунина», где Катто и его супруга состояли активистами, решили завербовать меня в свою ассоциацию.

Играем, господа, все вздор!..

Помнится, на вечеринке Катто красочно расписал свою поездку в черноземную Россию, где состоялась первая конференция, посвященная И.А. Бунину, упомянул забытую Богом деревню Бутырки, где в 53-м я собирал сочные антоновские яблоки, показал снимки памятников писателю в Ельце и Воронеже.

«А теперь в Орел, Полтаву, Крым!» — заключил он свой географический рассказ.

Я с нетерпением дождался собрания кружка в помещении Славянского института. В знакомом зальчике собраний сидели Жак Катто с женой, перебирая бумажки на столе. Они мне представили воронежского лектора Андрея Рачинского, большого знатока творчества Бунина, готовую рожать француженку по имени Клер Ошар и пожилого мужчину солидного вида, в синем клубном пиджаке с неразборчивым блазоном на груди. Оказалось, что это

главный заводила кружка, французский физик Гавриил Николаевич Симонов, постоянно живущий в окрестностях Бордо.

Потолкавшись вокруг стола, все эти люди уселись за зеленую скатерть, и лишь я продолжал шагать между стульями. Мне казалось, что вот-вот хлынет народ, ну человек пятнадцать, как на подобные сборища, но зал пустовал, и профессор Катто пригласил меня сесть в первый ряд. Сперва господин Симонов взял слово и объявил заседание кружка открытым, затем воронежский гражданин зарядил кассету в телевизор и показал любительский фильм, снятый им в России. Там туристы толкались в старом синем автобусе, потом спустились к заросшей травой речке и один за другим прыгнули в воду, улыбаясь фотографу. Храбро фыркал в болоте профессор Катто. Собирали ромашки пожилые женщины. Затем мелькнул силуэт города Ельца с вечным собором, бронзовый Ваня Бунин, читающий книжку, город Орел с облезлой мостовой, где у меня когда-то пытались выдернуть кошелек из кармана, темный аэропорт Москвы и посадка «друзей Бунина» в парижский самолет.

По просьбе присутствующих я выступил с коротким словом и в сжатом виде повторил быль о кровати с металлическим клеймом «Конрад Янушкевич и Ко» и об антоновских яблоках, превосходно описанных Буниным, — нечто вроде клятвы верности знаменитому писателю. Президиум с благосклонной улыбкой принял мое сообщение, и мадам Катто предложила записать меня в кружок с внесением членского взноса размером в сто франков.

Я не заметил, чтобы кто-то полез в карман за деньгами, мой же взнос с хрустом запихнули в картонную папку под названием «Ассоциация Друзей Бунина».

На перекуре физик Гавриил Симонов оттер меня в сторонку. Седой джентльмен оказался не только ученым, но и опытным футурологом. Со знанием дела и деликатностью за пятнадцать минут он выяснил мои парижские воз-

можности: местожительство, семейное положение, политические взгляды, автомобильные и лошадиные силы — а напоследок выдернул из туго набитого портфеля книжку «Как дожить до 120 лет, или Новая Реальность» и надписал: «Валентину Воробьеву с пожеланием долгой и доброй жизни от автора, Гавриил Симонов».

За первые посиделки в кружке я легко отделался просмотром глупого фильма в сто франков и стал действительным членом и «другом» Бунина.

* * *

Ивана Алексеевича Бунина я читал от случая к случаю, походя, собирая увлекавшие меня анкетные данные, необычные встречи и поездки писателя. Меня страшно забавляло и удивляло, что аристократ Ваня Бунин едва дотянул до четвертого класса Елецкой гимназии, два года просидев в третьем классе. Одни люди писали, что ему надоело учиться, а его отец, гуляка и картежник, писал старшему сыну Юлию: «Не на что продолжать образование Вани, и он болен».

Значит, и лень, и болен, и нет средств.

«Борзых у нас уже не было, оставалась пара гончих, вода замерзла в рукомойнике, и нечем печку топить», — вспоминал былое сам писатель.

Некогда видная на Руси фамилия, Бунины опустились в русский чернозем, в грубый и навозный быт крестьянства, ничем не отличаясь от обитателей деревень.

Воронежский помещик Алексей Бунин, бывший доброволец Крымской войны 1855 года, игравший в картишки с волонтером Львом Толстым, промотал три имения, увлекая в нищету жену, троих сыновей и дочку. Наследственные Бутырки, где я собирал яблоки, он проиграл в карты, имение жены Озерки — пропил, а последнее жилье в селе Лукьяново озверевшие мужики сожгли в 1905 году.

Ах, Иван Алексеевич, как вас обездолил папаша!..

С восемнадцати лет Иван Бунин — бездомный скиталец по чужим углам.

Бунин в 1889 году: даешь Орел, Полтаву, Одессу!

И я в 1953-м: даешь Орел, Елец, Москву!

Случайное сплетение маршрутов нищего аристократа и безымянного пролетария.

Он влюбился в ельчанку Варвару Пащенко и потащил ее за собой. Жадная животная связь без перспектив.

«Мы пойдем в народ!» — сказал бы Лев Николаевич Толстой.

Они туда шли, а я оттуда бежал как ошпаренный.

Первая остановка — губернский Орел. Подворье купчихи Никулиной. Драматический театр графа Каменского. Гастроли Марии Ермоловой при полных сборах. Громоподобные овации. Спектакли шли с большим сочувствием орловской публики.

«Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла, всё кипит; в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит».

Рецензент «Орловского вестника» Ваня Бунин не разделял театрального восторга А.С. Пушкина.

«Я возненавидел театр», — не раз и решительно заявляет он.

Конечно, театр — это не только декольте и фраки, мундиры и аксельбанты, паркет и люстры, улыбки и встречи, хористы и балерины. Степной дикарь Бунин знал театр не из парадного подъезда, а изнутри, в производстве. Те, кто нюхал пыль кулис, слушал склоки актеров и режиссеров, крики пьяных маляров и обозленных машинистов, знают, что театральная условность сцены — всегда карикатурная фальшь. Намалеванные задники и бумажные колонны, суета вместо разговора, ограниченная коробка сцены выводили из себя начинающего рецензента. Потом добавлялся бал у губернатора, приходилось занимать фрак с чужого плеча, улыбаться толстым банкирам и склоняться к ручке глупой губернаторши.

А театральную публику Орла составляли не только местные кафтаны и тулупы, а отборный, просвещенный народ, владевший землями и домами на орловской земле, титулованная знать и богатые помещики.

...Олсуфьевы, Апухтины, Нелидовы, Тютчевы, Барятинские, Стаховичи, Тургеневы — сплошные «дворянские гнезда» постройки Кваренги, Казакова, Клейна...

Их Ваня Бунин просто не замечал, театр пропустил и никогда к нему не возвращался, несмотря на редкие актерские способности, отмеченные Чеховым и Станиславским.

Даешь Полтаву!..

Жизнь в народе по правилам графа Толстого. Обязательный физический труд, общая столовая, чтение духовной литературы. Толстовец Бунин работал бондарем у полтавского еврея Блюмкина, а подруга стерегла коз на выгоне. Толстовскую жизнь с видом на природу она не вынесла. Елецкая красавица, мечтавшая о семейном уюте с экипажем и музыкой, вернулась домой к родителям. Одичавший Бунин написал письмо своему кумиру Толстому, где между прочим было: «тяжело мне невыносимо», — но оно осталось непосланным. Со своим «гуру» он встретился в Москве (1896). В редакцию «Посредника» пришел граф в овчинном полушубке, погладил бороду, спросил, как идут народные тиражи, и уехал на санях. Провинциал Бунин сдрейфил говорить с великим человеком о личном горе и вернулся в Полтаву.

Дружба двух аристократов литературы так и не состоялась. Знаменитый граф забыл о существовании начинающего поэта и, кажется, никогда его не читал.

Даешь Одессу!..

В большой Одессе у друзей- художников он встретился с красавицей Анной Цакни, и встреча оказалась роковой. Влюбился, женился и родил сына, но Анна Николаевна не вынесла разгульной жизни мужа. Муж сочинял стихи — не то Надсон, не то Полонский, пытался овладеть английским, издав перевод «Песни о Гайавате» на обер-

точной бумаге, и снова сбежал с приятелем — в Ниццу, кадрить легкомысленных девиц. Оттуда вернулся в Ялту, в уютное семейство Антона Павловича Чехова.

«У Бунина в это время, — вспоминает Мария Павловна Чехова, — были семейные неприятности. Он разводился с женой. Сын оставался с матерью. Иван Алексеевич приходил повидаться с ним через день».

«Мальчик мой болен немного», — ей доверительно пишет Бунин.

Сын Коля умер в пять лет от скарлатины.

Бунин думал застрелиться, но передумал и поехал завоевывать Москву. Высокий, худой, горбоносый Бунин не ходил, а летал, как пеликан.

Пишущая братия той эпохи, учителя и статистики, поднадзорные студенты и курсистки вроде Ульянова и Крупской поклонялись литературным «друзьям народа», как Глеб Успенский, Владимир Короленко, Мамин-Сибиряк. Старший брат Бунина, Юлий Алексеевич, вел в Москве педагогическое издание для народа. На его «субботниках» собирался литературный бомонд: Николай Телешов, Сергей Найденов, Евгений Чириков, — врачи, художники, курсистки. Бунин особо сдружился с Н.Д. Телешовым, женатым на дочке банкира, рисовавшей букеты акварелью.

В Москве был большой выбор невест, и юному Бунину приглянулась дочка знаменитого философа Катя Лопатина, сочинявшая стихи. Позднее (1931) он признался: «Она мне нравилась потому, что нравился ее дом в Гагаринском переулке». Из московских «салонов» его постоянно поводит в родную деревню, опять в Одессу, появился и Петербург.

«Жил я, естественно, как нищий студент».

«Сижу у родителей. У матери крупозное воспаление легких, а ей под семьдесят», — пишет он Маше Чеховой в 1904 году.

У человека, написавшего «Антоновские яблоки» (1900), ни кола, ни двора. Иногда вылазки за границу с веселой компанией: драматург Сергей Найденов, беллетрист Коля Телешов, одесские живописцы Нилус и Куровский.

Заглянем в 1905-й год. Один за другим идут события чрезвычайной важности: расстрел народной демонстрации в Петербурге, убийство генерал-губернатора Москвы, разгром русского флота в Японском море, революционные баррикады в Москве, восстал броненосец «Потемкин-Таврический», Максим Горький в Петропавловской крепости, горит родная деревня.

А Бунину все это — по боку!..

«Проклятые вопросы» современности его совсем не волновали. Его время иного измерения и вида. Ему наплевать на гибель крейсера «Варяг», еврейские погромы и осаду Одессы.

В дружбе с «босяком» Горьким видят некоторую «левизну» Бунина, но ведь надо обладать воистину олимпийским спокойствием, чтобы в «исторические дни» России сочинять стихи о Палестине.

В пыльной Одессе его обокрали, в Питере солдат наступил на больную мозоль, в Москве обозвали буржуем, а он пишет о Джордано Бруно.

«Ра-Озирис, владыка дня и света, хвала тебе! Я, бог пустыни, Сет...» (1905)

И с литературными декадентами у него особые счеты. Они вообще сплошное жулье.

И это — о людях утонченных вкусов и разнообразных талантов. Дмитрий Мережковский не философ и плодовитый беллетрист, а «пройдоха и хлыст». Зинаида Гиппиус не утонченный критик, а «сплошное свинство». Федор Сологуб не модный прозаик и оригинальный поэт, а «выкрутасы». Николай Гумилев не авторитетный глава поэтической школы, а «лгун с манией величия». Валерий Брюсов не опытный издатель и поэт, а «морфинист, садист и чудовищный графоман». Константин Бальмонт не музыкальная поэзия, а «пьяница и бес».

Курсистка Вера Николаевна Муромцева (отец – профессор римского права, дядя — председатель Государственной думы, отличная московская семья с отрицательным отношением к государственной власти) — невеста на выданье. Где они сошлись? Одни говорят — на даче у знакомых, другие — в доме беллетриста Бориса Зайцева, но это не важно, главное, что с 1906 года они мотаются по миру вместе.

«Узаконили мы наш союз в 1922 году, в Париже», — вспоминает В.Н. Бунина-Муромцева.

Вокруг молодого и уже знаменитого Горького, как мухи над бочкой меда, роятся люди: жены (в 1909-м сразу три: законная, нижегородская, Екатерина Павловна с детьми Максимкой и Катькой, незаконная Мария Федоровна Желябужская со своими Юркой и Катькой, незаконная и замужняя Варвара Шайкевич с новорожденной Нинкой – «дети – цветы жизни», говорил Горький), пара приемышей (Зиновий Свердлов и Маша Гейнце), родня и приживальщики, сытые и голодные, ленивые и работящие, живописцы и переводчики, революционеры и банкиры, «белые» и «красные». К нижегородскому самоучке приходил сам Лев Толстой справиться о здоровье «настоящего народного писателя», как выражался граф.

Алексей Максимович владел не только дачей на солнечном Капри, но и мировой славой. Прижаться к нему, погреться у его доходного костра выпадало не каждому, но для Бунина двери были открыты. Очень схожие судьбы, хотя Горький превосходил его по невежеству — один класс гимназии!

«Мы получали в “Знании” (издательство А.М.Г. — *В.В.*) кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он любил», — вспоминал И.А.Б.

Большую свору писателей-реалистов кормил влиятельный и сильный Горький. И остров Капри стал для них общим, гроты и плющи, фонтаны и вино, тепло и хорошо

пишется. И веселились от души. В кресле, скрестив ноги в длинных сапогах, восседает гостеприимный хозяин. «Эй, ухнем» поет Федор Шаляпин, танцует гопака миллионер Терещенко, играют в шахматы Ленин с Луначарским, суетятся жены, дети и прислуга, тут же топчутся Бунин с Муромцевой.

«Писатели Андреев, Скиталец и прочие “подмаксимки” тоже стали носить сапожки с голенищами, блузки и поддевки».

Ядовит и завистлив Иван Алексеевич.

А ведь бьет баклуши в свите Горького!..

Литературный туризм Бунина — его возил пароход торгового флота бесплатно и «с научными целями», несерьезное времяпровождение: ресторан, английская панама, случайные встречи с «угнетенным классом» в трюме и в порту, — но в эти заморские поездки он написал свои лучшие прозаические и стихотворные вещи.

Критика о нем писала: «Кнут Бунина равномерно играет на спинах мужиков и дворянства», — а мне нравится, как он «играет».

«Люблю сухой, горячий блеск червонца, когда его уронят с корабля» (1907). Хорошо сыграл червонец, выразительно сыграл.

В моем воображении настоящий писатель горбат, волосат и болен — падучая, чахотка, шизофрения, — а у Бунина ничего писательского и наяву. Мужчина благородных линий, английский костюм, туфли, трость. Биржевой маклер, пожиратель сердец, а не литературный горбун. Накануне XX века одесский прапорщик Валентин Катаев точно увидел на нем «иностранные полуботинки», но не широкие, мозолистые лапы, выдававшие тяжелое, черноземное прошлое писателя. За обликом столичного аристократа прятался самоучка и работяга, воспитанный братом-нигилистом. Бунинский гений работал на земле и в крови, на спинах русских мужиков и господ, на морях и в космосе.

* * *

В феврале 1920 года, в одесском порту, проклиная кровожадных, неизвестно откуда свалившихся большевиков, а главным образом, ненавистную «чернь», или «массы», голодные и обозленные Бунины сели на греческий, «не внушавший доверия пароход "Спарта"» (по Муромцевой) и после тифозных гостиниц Истамбула, Софии, Белграда, грабежей и оскорблений, по вызову супругов Цетлиных выбрались в Париж.

В Белграде, в посольстве России, в начале 21-го года писателя окликнули: «Господин Бунин, для вас есть виза в Париж и тысяча французских франков».

Постаралась Маруся Цетлина, обожавшая его творчество.

Поэтесса Маруся Тумаркина (ее девичья фамилия) познакомилась с Буниным до замужества, и можно предположить, что у них был мимолетный романчик, каковых у Бунина было множество, особенно с девицами восточной красоты. Маруся вышла замуж за революционера, полгода просидела в Петропавловке (1905) за антиправительственную пропаганду, а в 1910-м снова вышла замуж — за богача Михаила Осиповича Цетлина (внук чайного короля Высоцкого и в поэзии Миша Амри): особняк в Москве на Поварской (в 17-м захвачен анархистами и разорен), просторная квартира в Париже, вилла в модном Биаррице, где живописец В.А. Серов писал ее портрет в 1911 году, и дом в Одессе, где они приземлились перед бегством в Европу с семьями Алексея Толстого и М.А. Алданова. Естественно, что академик литературы И.А. Бунин постоянно сообщался с этим домом и заранее договорился о взаимной выручке.

Значение семьи Цетлиных, а Маруси особенно, велико не только для Бунина, весь остаток жизни связавшего с ней, но и для русской культуры в целом. Большое собрание русской живописи Цетлиных теперь находится в израильском музее.

В Париже Иван Бунин немедленно оевропеился, сбрил седеющую бородку и сразу помолодел. В парижских «Пассях» квартирка, где в соседях — старые знакомцы: одесский живописец Петя Нилус, серьезный знаток лошадей и цирка Сашка Куприн; приглашение в лучшие дома эмигрантов, бежавших от большевиков: Максим Винавер, Леон Розенталь, Абрам Гукасов. Богатый англичанин за бесценок сдал ему свой дом на Лазурном берегу (Грасс): живи, твори, любуйся теплым морем.

Руки в брюки и нос по ветру.

В Европу явился и Максим Горький с многолюдной свитой, не то лечиться, не то жить. С ним издатели, переводчики, секретари, обновленный гарем, где первенствовала Мурка Закревская — кадровый разведчик Коминтерна, и сразу три придворных художника: учитель рисования Иван Ракицкий, театральные декораторы Андрей Дидерикс и Валентина Ходасевич.

«У Горького просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных», — вспоминает многолетний приживальщик и одаренный поэт В.Ф. Ходасевич.

Бунины уклонились от горьковских «чернил». Теперь это был не волжский босяк, а фаланга большевизма в Европе. Алексей Максимович держался за новых, кремлевских владык, за большие тиражи и хорошие деньги. При нем были и случайные попутчики, как тот же Ходасевич или Нина Берберова, осевшие в эмиграции, но основой двор покорно плелся за ним. В это смутное время его кандидатура на Нобелевскую премию считалась очень серьезной, но из-за политических интриг и корпоративной зависти не прошла.

Бунин своего друга и покровителя Горького считал лично ответственным за чудовищные разрушения России, преждевременную гибель своих родных и близких.

Старший и любимый брат Юлий Алексеевич умер с голоду в московской богадельне. Средний, Евгений Алексеевич, в революционные годы из юриста превратился в народного художника. «За пуд гнилой муки он написал портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря, ставшего комиссаром, пошел в Ефремов, упал на дороге и отдал Богу душу. Сестра Мария Алексеевна умерла от тифа в Новочеркасске».

«Был я у старухи княгини Белозерской, — пишет Бунину племянник Коля Пушечников, — сидит в лохмотьях голодная в ужасном холоде и курит махорку».

Бунина я дочитывал в Париже. «Окаянные дни» были первой книжкой, купленной за границей. Ядовитые и злые заметки без утомительного «я», принятого в литературе подобного жанра, безукоризненный русский язык и яркие картинки революционной России. Поражает, что такой наблюдательный писатель не увидел, что революция взбаламутит глубинную чернь, главных героев его сочинений.

Я не буниновед, в задачу моего очерка не входит оценка его литературного веса в русской культуре. Для моего портретного коллажа достаточно отрывочных воспоминаний, но придирчивый и прямой, как штык, читатель прижмет к стенке и спросит: а что, собственно, написал твой Бунин? Ни видного романа, ни популярной пьесы, ни заметной песни. Так, сборник рассказиков о звероподобных мужиках и влюбленных гимназистках. Разве это литература?!

У такого читателя много видных союзников.

«Стихи Бунина, как и других эпигонов натурализма, — писал “гуру” акмеистов Николай Гумилев, — надо считать поддельными, прежде всего потому, что они скучны, не гипнотизируют».

Охотно допускаю такую критику, но я спал в елецкой постели Бунина, а не под гипнозом Гумилева.

Иван Бунин не курил гашиш в «Стойле Пегаса», не строил революционных баррикад, не кормил вшей в окопах войны, прошел мимо театра — визитной карточки любого сочинителя, единственный и очень странный роман «Жизнь Арсеньева» еще не дописал и получил за сборник «скучных» стихов и рассказов высшую литературную премию, Нобелевскую!

Загадка века: почему «Нобеля» дали незаметному Бунину, а не всемирно известному гуманисту Горькому, или Дмитрию Мережковскому, написавшему множество умных романов, или превосходному стилисту Александру Куприну, или большому мастеру прозы Евгению Замятину?

Сидя на балконе Лазурного берега (Грасс), глядя на теплое море и опрятные дороги Франции, он писал:

«Я видел вас на балу в Воронеже...где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов... нынче вечером я уезжаю в Тверь..лезла вверх со своими пожитками восточная чернь».

Год: 1933.

Иван Алексеевич, в Ельце — голод, в Орле — голод, в Брянске — голод.

В этот голодный год мой отец Иван Сергеевич, спасая семью от голода, украл мешок муки и сел в тюрьму.

Человек едет в Стокгольм за премией, а пишет, что в Тверь!..

Медаль с рук шведского короля и миллион валюты в придачу.

Стареющий Бунин как мальчишка влюбился в брюнетку с гибким станом. Русская поэтесса Галина Кузнецова. В доме образовался треугольник, но что делать, если Ян, как называла мужа Вера Николаевна, влюбился. Так, втроем, представились королю.

Французское общение Бунина ограничивалось примитивным разговором с консьержкой и расчетом с таксистом. А так сугубо русские делишки: сосед Петька Нилус клянчит деньги на холсты и краски, Сашка Куприн с утра просит на бутылку, добровольные и вечно голодные по-

мощники, Коля Рощин, Осип Вайнбаум. Какой там, к черту, балет Дягилева и вернисаж Пикассо, весь французский фокстрот — мимо. Черноокую поэтессу Кузнецову из рук не выпускал, холил и одаривал. Вера Николаевна выписала из Риги капитана Леню Зурова, псковского скобаря, выдавшего себя за ученика Бунина. Парень мечтает прославиться на русском слове. Недурственно пишет рассказы — вот что значит русская гимназия, оплот мракобесия и консерватизма! — но ведь у него вся жизнь впереди, где говорят и пишут по-французски. Дружит с подозрительной бандой русских «гошистов»: Сергей Эфрон, Вадим Андреев, Жора Газданов, Никодим Вощинский.

Приехал псковский скобарь ночевать и остался навсегда.

Как известно, начальной школы Бунин не закончил, иностранные языки постигал самоучкой и основательно не знал. Писатель старел, а Зуров, Рощин и Вайнбаум за него бегали по издательствам и кололи дрова.

Довоённый Париж наводнили не только казаки Белой Армии, но и множество «совков» – учиться, лечиться и учить мировой революции нерадивых европейцев.

...Эренбург, Маяковский, Станиславский, Мейерхольд, Бабель, Маршак, Роберт Фальк, Екатерина Пешкова...

Хоть караул кричи!

В Париже Бунин на отшибе. Там, где толкались Илья Эренбург, Андре Мальро, Андре Жид, его нет.

Нобелевский миллион Бунин прогулял и раздал по-барски. Щедро и безумно разбросал деньги коллегам в нужде и цыганам по кабакам. Бывало, просаживал и в картишки.

«На авеню Версай 130 шла игра. За столом теща Алданова и писатель Бунин», — запомнила княгиня Зинаида Шаховская.

Тут бы самое время прибарахлиться, обставить квартирку, приобрести картинку работы Ван Гога, положить деньги на проценты, сплавать в Америку.

«Пропил Ванька, промотал!..»

В 36-м Бунины уже выли от безденежья. Писателя замучил кровавый геморрой, а главное — сбежала Галя Кузнецова.

Где же справедливость, скажите, пожалуйста?

В рассказе «Кавказ» (1937) есть: «возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в висок из двух револьверов».

Сам автор стреляться не стал.

«Анне фолль!»

* * *

Что такое Грасс? — балкон над морем!.. Душистый городок, тридцать парфюмерных заводов, древний собор, римская дорога. Бунин не один в этом мире целебных запахов. Тут тебе и русские соседи: Людмила Сергеевна Врангель растит жасмин, ялтинский врач и беллетрист Сергей Яковлевич Елпатьевский в сторожах, княгиня Оболенская за прилавком магазина, богатые адвокаты Крым и Винавер, порядочный художник Рожанковский, и местная чернь — тише воды и ниже травы, и над всем возвышается вилла «Жаннет» с огородом. Когда началась нежданная мировая война (1939), на шею обедневших Буниных свалилось сразу трое тунеядцев: пара эстетствующих лесбиянок, Галя и Марга («не баба, а конь с яйцами!» — И.Б.), и несчастный еврей Саша Бахрах, юноша красивой наружности. Женщины поселились в «голубятне» и спускались в столовую только за едой. Псковитянин Леня Зуров воровал у соседей дрова и разводил на грядке картофель, Бахрах стоял в очередях за хлебом, а «нобелиант» метался, как тигр в клетке, запирая от непрошеных постояльцев вареную картошку в бельевой шкаф.

«Плохо мы живем в Грассе, очень плохо, — жаловался в 42-м году Бунин Андрею Седых. — Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое,

морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад. С тех пор вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить...»

На вилле «Жаннет» в Грассе образовалась злобная и мусорная общага, жидкий суп и страшный холод. У нас в Брянске было веселей, люди глушили рыбу немецкими гранатами, и не переводились куры.

Маруся Цетлина зовет в Америку. Опять паковать чемодан, искать жилье и читать лекцию о Пушкине трем прыщеватым американкам. Нет, мне семьдесят и пора остепениться. Потом, немцы не пещерные звери и умеют читать.

Иван Бунин, ненавидевший большевиков и презиравший фашизм, — представляете, в нобелевском, тридцать третьем пограничный ариец с поросячьей мордой лезет знаменитому писателю в жопу в поисках ворованных бриллиантов! — свинства никому не прощал.

* * *

О жизни русской интеллигенции в годы войны, и Бунина в частности, я ничего не знал. Эта тема и в 1975 году считалась у французов табу, а эмигранты послушно подчинялись такому запрету. Распутывать темные узлы я начал с известного танцовщика Лифаря, от него нитка потянулась к Сергею Маковскому, бывшему издателю «Аполлона», затем я встретился с людьми, пережившими оккупацию, наконец, с настоящими власовцами, сочинявшими для генерала А.А. Власова манифесты и речи.

Моралисты никогда не переводились в эмиграции. Способный беллетрист, генерал П.Н. Краснов писал о великодушии казаков и низости красных комиссаров. Литера-

турная халтура генерала шла нарасхват. Он ею хорошо кормился, и в министерстве Альфреда Розенберга считался экспертом по «восточному вопросу». Генерал доказал, что донские казаки — арийского происхождения и достойны отдельного государства Казакии. Калмык Шамба Балинов требует свой Улус. Ираклий Багратион претендует на древний трон Грузии. Чеченцу Саиду Шамилю нужен Северный Кавказ. Есть претенденты на Московию.

Согласно военному плану Третьего рейха, советская территория шла на расчленение и заселение немецкими колонистами. Политика раздела земли по племенному признаку давала свои ядовитые и колючие плоды. Балтийцы, веками служившие русскому престолу, легко уходили к немцам. Шлиппе, Эрдели, Данзасы без особых проблем получали работу и продовольственные карточки. В услугах русских эмигрантов Германия не нуждалась. «Вредны и не нужны» было заключение нацистов. И вот Ивановым и Поповым, не располагавшим поддержкой Германии, приходилось выдавать себя за датчан, бельгийцев, финнов, даже испанцев: десяток русских молодцов просочился в испанскую дивизию «Ваффен-СС» — чтобы сражаться с большевиками на восточном фронте. Капитан императорского флота Егор Чехов (Антон Павлович, не ваш ли племянник?) и братья Сосновские в качестве бельгийцев с боями прошли до Таганрога. Лейтенант Сергей Кротов проник в добровольческую бригаду французов и командовал там артиллерией. Капрал «Ваффен-СС» Протопопов в осажденном Берлине подбил семь советских танков Т-34 и покончил с собой, чтобы не попасть в лапы большевиков. На восточном и западном фронтах в немецких штабах и воинских частях воевали русские князья и мужики, мечтая о свободной России.

Друг, Иван Алексеевич, а не ваш ли без вести пропавший сын Юлиан Бибиков служил в немецкой авиации?

Множество русских эмигрантов выбрало немецкую карту: «Бог, Гитлер и я!» — решительно заявил танцов-

щик Парижской оперы Сергей Лифарь, но после Сталинграда (1943) и самым близоруким стало видно, что «Гитлер капут» и победят союзники.

Иван Алексеевич, наш новый сосновый дом, построенный в 27-м году, немцы, удирая домой, сожгли, как коробку спичек, корову забрали с собой, кур и гусей перерезали. Кое-что из барахла мы спрятали в погребе, авось не украдут, но банда Чубаркина выгребла из хранилища все до последней иголки и нитки.

Гвоздей, калош и мыла нет. Жуем траву, но революция не предвидится, и свободой не пахнет.

В разгар войны Бунин отощал и оборвался, пара зрелых девиц смылась в Германию. Там отец Марги профессор Степун читал лекции по истории Древней Руси, получая немецкие пайки, но Бунины рано ликовали. Предстояла форменная война с «капитаном» Н.Я. Рощиным, засевшим в бунинской квартире в «Пассях». За четыре года немецкой оккупации он не заплатил ни одного франка за постой в чужом доме и угрожал всех пересажать как немецких шпионов. В конце концов Бунины победили. Рощиных выперли жандармы. Они выдали себя за «макизаров» и вернулись в Советскую Россию первым пароходом.

Что же писал Бунин в это тревожное время?

В рассказе «Месть» (1944) на фоне каннского пляжа опять русские герои — он живописец, она натурщица, брошенная любовником, — нарисованные острыми и сочными мазками. О войне и голоде ни слова.

Осенью 44-го в освобожденный Париж, с треском и свистом, размахивая красными флагами, вернулся советский посол Александр Ефимович Богомолов, в годы войны сидевший в Алжире. Одновременно из Москвы специальным самолетом прилетела так называемая «комиссия по репатриации» во главе с генералом Драгуном. Ему беспрекословно подчинялись министры-коммунисты, окружавшие вождя Сопротивления генерала де Голля, «верного друга товарища Сталина». Ей предстояла нелегкая

работа: разобраться с огромной массой советских граждан (120 000), застрявших на французской территории, кто с винтовкой, а кто с лопатой в руках. Русских загоняли в особые лагеря. Им легко удавалось выбраться на волю. Они грабили прохожих, крестьянские дворы, магазины и склады, наводя ужас на местное население.

«Всемирно-историческая победа — и все дозволено!»

Шла война, а в Париже летели головы.

Нам, рожденным под солнцем сталинских пятилеток, не понять эмиграцию той поры. Куда ни крутись, а Сталин — это победа, и русские шоферы плелись в советское посольство за победными паспортами.

Архиерей зарубежного православия Евлогий получил гражданство под номером один.

...Князь Волконский, граф Муравьев-Апостол, таксист Газданов, литератор Вадим Андреев, жулик Рощин, пустозвон Зуров — все в распоряжении «красной сотни» генерала Драгуна.

Париж стал советским отделением милиции. Генерал и его опричники из Смерша хватали и сажали по своим спискам, выдергивая и отстреливая дезертиров и партизан, державников и самостийников, мужчин и женщин, белых и красных. Литературный народ эмиграции, написавший хоть строчку в оккупационное время, проходил проверку на вшивость в специальном лагере Борегар, как в насмешку — неподалеку от дачи И.С. Тургенева.

«Мы убиваем!» — как выражался трубадур советского нашествия Илья Эренбург.

Сотрудники «Парижского вестника», знаменитые писатели Илья Сургучов, Иван Шмелев, Николай Туроверов, подмочившись у немцев, потеряли всю надежду на советскую пенсию.

Более тысячи русских военных офицеров, выражавших желание сражаться с «жидо-большевиками», а среди них — видные генералы Головин, Витковский, Болдырев, прошли допрос в советской полиции. Сто тысяч несчаст-

ных «хиви» и «перемещенных лиц» из французских фильтрационных лагерей погнали в Сибирь на принудительный коммунистический труд.

Народ требует расправы!..

* * *

На каком-то эмигрантском сборище я познакомился, а затем и подружился с парижанкой Катей Зубченко. Ученица только что умершего (1976) живописца Андрея Ланского. Выразительное лицо скорее кавказского, чем славянского покроя, с легким пушком на губе.

Родилась она в Ленинграде, где папа честно служил Советскому Союзу. Мама мыла полы и стирала белье на коммунальной кухне. Аккуратная, непьющая семья. Можно сказать, счастливое советское детство у девочки, первый класс и пионерский красный галстук с оловянным зажимом. Жизнь перевернулась вверх дном летом 41-го года. Институт гидравлики, где работали дедушка Владимир Валерьянович Эдигер-Татаринов и мама, направили в Нальчик, казалось бы, безопасного Кавказа, но и туда быстро пришли немцы и назначили деда городничим. О возвращении в Питер не могло быть и речи, там весь институт ждал расстрел. Отступая в 43-м, немцы замели всю семью на культурную обработку в Третий рейх. Началась жуткая кочевая жизнь, обозы и товарняки, транзитные лагеря и рабочие фермы в Польше, Германии, Франции.

«Идти приходилось только по ночам, — вспоминает былое Зубченко, — из-за боязни обстрела с воздуха».

Над головой беженцев кружились британские «москиты» и американские «лейтинги», бросая бомбы на города и людей. У немцев ученый дед и мама с Катей проходили под маркой «фольксдойчей», что значительно смягчало быт — Эдигеры и Глазенапы всегда найдут лазейку в этом мире. В Париже, куда их выписал дядя-профессор Евге-

ний Татаринов, затеряться в толпе с девочкой, плакавшей по-русски, было не так просто. На подозрительных гостей из России донесла соседка, член французской компартии: «замаскированные враги трудящихся прячутся у русских монархистов».

Маленькую Катю спрятали, а маму переправили в советский лагерь Борегар, населенный советским сбродом войны, от уголовников эсэсовских дивизий до принудительных рабочих-остовцев. Тройка военного трибунала заседала день и ночь. За «измену родине» всем без исключения была обеспечена «десятка» зимнего спорта на Колыме с лопатой и тачкой. Особо ретивые «хиви» получали расстрел или петлю.

Смерш не шутил в то время.

Господа эмигранты, дело ваше гнилое!..

По советским меркам французские лагеря — всего семьдесят, подчиненных французской администрации и доступных кремлевским агентам, — походили на «дома отдыха». За мелкую взятку (пачка американских сигарет) заключенный выходил за ограду пить, воровать, танцевать.

Катиной маме нашли жениха и прописали в Париже. Она стала мадам Елена Щупляк с работой в газете «Русская мысль», и чекистам было не до нее. Катя пошла во французскую школу, а потом была мастерская мэтра абстрактного искусства графа Андрея Михайловича Ланского. Граф оказался большим гуманистом. Он полюбил красавицу Катю и научил ее рисовать. Никакой полемики с Кандинским, но ежедневная битва с Сатаной.

В 1955-м умер дедушка В.В. Эдигер-Татаринов. Незадолго до смерти его навестил строитель вертолетов Игорь Сикорский. Оба изобретателя всю ночь проговорили о Боге.

Катя стала полезной связной новых эмигрантов со старыми. Она сошлась с моим приятелем Борей Радовским и назначала свиданки в известном артистическом кафе «Ля Палетт» («Палитра»). Через нее я познакомил-

ся с престарелыми Мансуровым, Цингером, Заком. Она охотно давала адреса фабрикантов красок и холстов, привела в союз русских художников. Мастерская покойного Ланского сдавалась, и я решил атаковать это помещение.

Страх военного детства, бесконечные пересыльные лагеря и генеральная охота за русскими душами так тяжело ударили по ее хрупкой натуре, что она от них не могла избавиться. Через тридцать лет после исчезновения Смерша, в шумном парижском кафе художников Кате казалось, что за углом дежурит американский джип с советскими чекистами.

В то же время я встретил и настоящих власовцев, чудом избежавших ссылки в сибирские рудники. Господин Соколов в советско-немецкую войну служил унтерштурмфюрером в бригаде Брони Каминского, а теперь читал лекции о международном положении в парижском подвале «Посева». В любую погоду он появлялся в черном галстуке на бордовой рубахе и говорил с таким ужасающим южнорусским акцентом, с газетными оборотами «под Брежнева» («сиськимоисиськи» вместо «систематически»), что хотелось выть, как от зубной боли. Я с ним выпил рюмку водки с большой наценкой. Оказалось, он никогда не видел живой Москвы. Самые большие города его детства — Гомель, Полоцк, Лодзь и так далее. Говорить с ним было совершенно не о чем, а о разгроме Варшавы в 44-м («советская пропаганда») я не заикался, чтобы не напугать осторожного прохвоста.

Бывший добровольный рабочий («хиви») Иван Сысоев служил библиотечным техником в «Тургеневке», то есть подметал полы и протирал от пыли книжки. Всегда в потертом тренировочном костюмчике, он совсем не походил на палача Освенцима, хотя говорят, в темном омуте черти водятся.

Шофер русского лагеря культуры и отдыха «Орел» в Ландах, Николай Николаевич, решительно всех подозревал в шпионаже и с людьми изъяснялся одним междоме-

тием «гмы», но директор лагеря мсье Лебедев его отлично понимал и ценил за исполнительность.

* * *

Авторитетная дата: 1945 год.

12 февраля в Париже, в посольстве СССР за здоровье генералиссимуса Сталина пили: бывшие царские министры и адмиралы Д.Н. Вердеревский и М.А. Кедров, бывший посол России и выдающийся адвокат Василий Алексеевич Маклаков, инженер и предприниматель Александр Андреевич Титов, французский адвокат и директор «Русского дома» на Ривьере Евгений Францевич Роговский, издатель Абрам Самойлович Альперин, депутат Учредительного собрания Михаил Матвеевич Тер-Пагосян, депутат Госдумы и директор парижской газеты «Последние новости» Николай Константинович Волков, профессор и журналист Владимир Евгеньевич Татаринов, профессор и министр Украинской рады Дмитрий Михайлович Одинец, поэт и литературный критик Георгий Викторович Адамович, издатель «Аполлона» Сергей Константинович Маковский, «французский подданный» Арсений Федорович Ступницкий.

Водка, икра, ликеры, сигары, американский шоколад!..

Посольство выдало необходимые средства для издания заглохшей русской прессы. Курировать газеты «Русские новости» и «Советский патриот» поручили Д.М. Одинцу, А.Ф. Ступницкому, Г.В. Адамовичу и Вадиму Андрееву, сыну знаменитого писателя.

Иван Алексеевич Бунин с опозданием на месяц также вляпался в советское говно. За ним был послан посольский автомобиль в сопровождении Сергея Маковского, очень темной лошадки русской эмиграции. Пил за здоровье товарища Сталина и дал рассказ для советской газеты.

Виллу Буниных на Ривьере я тщательно осмотрел. Она оказалась обыкновенным городским домом в полтора эта-

жа с крохотным садиком и странным образом походила на подворье купчихи Никулиной в Орле, где в юности квартировал журналист Ваня Бунин. Лишь окна были французскими, высокие и в шесть просветов, с металлическими подбалкончиками в каждом.

Я легко представил, как паковались Бунины и Леня Зуров, навсегда покидая Грасс. Потертые чемоданы харьковского производства, спешно забитые еще перед бегством в Истамбул. Прощай, теплый Грасс!..

На обработку нобелианта выпустили свору проверенных сталинских псов: сначала Лешку Толстого-Бострома («Иван, в Москве тебя с колоколами бы встретили!»), затем тишайшего и забытого Колю Телешова — друг Колька, заводила писательских посиделок на заре века, пишет письма и не врет: «Иван Бунин — великий русский писатель». Молодой, орденоносный армейский соловей Костя (Кирилл) Симонов, по матери князь Оболенский, кормит и поит в парижских кабаках. За ним маячит выездной разведчик Литфонда Лев Никулин (сумел забрать архив Бунина).

Иван Алексеевич, окаянные дни давно миновали, пьяная чернь сидит по тюрьмам, на улицах не срезают кошельки, а возвращают потерянное, старикам уступают места в трамвае, дети строят скворечники, поэты пишут все, что придет в голову.

«Я не герой покамест, нет: доставай тогда кисет!» — сочинил, к примеру, Твардовский — и получает Сталинскую премию.

А вот и знакомый вам народ.

Граф Игнатьев живет в доме с лакеем у дверей, шофер, хрусталь и серебро. Алешка Толстой, как вы говорите, Третий, ест копченый окорок, запивая французским вином. Сандро Вертинский (кстати, только что вернулся на родину!) поет в Благородном собрании на «бис» Политбюро. Поручик императорской кавалерии, а теперь маршал Георгий Жуков командует войсками, разгромившими самую мощную в мире армию фашистской Германии.

Иван Алексеевич, вас ждет не чернь, а вечная Россия. Квартира на Тверской-Ямской, пустующая дача Исаака Бабеля — голубчик оказался не только отчаянным безбожником, как вы изволили заметить, но и немецким шпионом. Да и Демьян Бедный обосрался: национального героя Илью Муромца клеветник назвал алкоголиком и вылетел из теплых кремлевских палат на мороз, так что и там для вас есть место. У вас будет казенная «Победа» с шофером, курорт в Крыму, если хотите — в домике вашего друга Чехова, да и царские дачи открыты настежь, почетное место в президиуме «инженеров человеческих душ», рядом с одесским артиллеристом Валькой Катаевым — помните его: «за сто тысяч рублей убью кого угодно, я хочу хорошо жить», — двести миллионов читателей, конференция в средней школе на тему «Антоновские яблоки Бунина» и народная любовь!..

И совсем не обязательно славить товарища Сталина и его «пятилетки», он этого не любит, ест картошку в тулупах и спит под шинелью тридцать лет подряд, ведь скромность украшает человека.

Иван Алексеевич, пора паковать чемодан.

* * *

Год, если не больше, «Друзья Бунина» искали скульптора реалистического направления. Я знал Славку Клыкова, но он драл такие цены за бюсты олигархов и великих князей, что Кружок в ужасе замахал руками и поправил, что ищет «хорошего, но скромного артиста». Скромных и хороших я не знал. Господин Г.Н. Симонов нашел такого в Воронеже и привез в город Грасс над Средиземным морем. Скульптор с утра до вечера пил водку с местными клошарами, попал в больницу с язвой желудка и выпал из конкуренции. Его глиняный эскиз походил на бородатого Льва Толстого, а не на Бунина парижской эпохи, как того желали кружковцы. Воронежского артиста отвезли на ро-

дину и пригласили местного любителя, лепившего в свободное от работы время. Грасский самоучка, не слыхавший, кто такой Бунин, и никогда его не читавший, лепил голову в фас, не зная римского профиля писателя. Получилась огромная голова без шеи и плеч некоего гражданина с едва заметной «бабочкой» на нем. Не то советский космонавт, не то гаражист в отставке. Работу перевели в бронзу и поставили в сквер принцессы Полиньяк, над бывшей виллой писателя в Грассе, где он жил с 1923-го по 1945 год. Грасский скульптор не пил с клошарами, но деньги за халтуру содрал немалые.

4 июля 2000 года на торжественное открытие памятника я не явился, гулял в горах, но чуть позднее внимательно познакомился — ах, Иван Алексеевич, как он вас обезобразил. Ну не вы это, не похож!..

Я отснял голову со всех сторон и на генеральном собрании кружка 25 ноября с возмущением показал фото активистам. К моему удивлению, красавица Клер Ошар расхвалила памятник безымянному гаражисту, и обсуждение замяли.

На сей раз, кроме меня, на собрании присутствовал фотограф Андрей Корляков, снявший инаугурацию в Грассе. Благовоспитанный и скромный Симонов в том же клубном пиджаке вставил кассету в телевизор, и народ молча смотрел фильм.

...Замелькали дома и улицы Грасса, мэр в синем костюме, бородатый архиепископ Павел Ницкий, русский консул, кучка местных добровольцев культуры и Гаврила Симонов, толкавший речь...

— Ну вот, господа, — начал он, вынимая кассету из телека, — наш фотограф просит за фильм пятьсот франков, будем брать или нет?

— Конечно, будем брать! — высказался я первым.

Все с удивлением и радостью уперлись в меня взглядами.

— Значит, нас здесь пятеро, по сто франков с человека — и фильм в нашем архиве, — заключил довольный Симонов.

Я заплатил сто франков, поблагодарил руководство кружка за просмотр фильма и ушел. Членские взносы с меня не посмели спросить, да я бы и не дал.

Друг, Иван Алексеевич, простите великодушно!..

* * *

Напоследок заглянем к живому Бунину.

В 1944 году советский чиновник высокого ранга Алексей Кравченко дезертировал в Америке, где закупал новую технику. Под надзором американских «органов» он написал книгу «Я выбрал свободу», нашумевшую своим правдивым изложением советской действительности. Коммунисты и прогрессисты всего мира заклеймили перебежчика во всех смертных грехах, в предательстве советской родины, партии и правительства, отогревших такую змею у себя за пазухой, и само сочинение, написанное под диктовку американских империалистов, как сплошную клевету на рабоче-крестьянское государство. В мирное время склока прошла бы незамеченной, но она началась в самый разгар «холодной войны» Америки с Советами, когда идеологические интересы противников особенно обострились. Алексей Кравченко подал в суд на французский журнал «Летр Франсез» за злостную клевету в его адрес. Американцы приодели автора книжки и под охраной отправили на судилище в Париж. Обвинитель Кравченко обложился свидетелями советских беззаконий, со своей стороны, коммунисты привезли с Украины жену невозвращенца, одетую в стеганый ватник.

Журнал пригласил восходящий авторитет юридической науки, моего будущего тестя Рене Давида, консультировать скользкое дело. Сразу отвергнув нелепые обвинения журналистов в «предательстве партии и правительства» как не

существующие в мировой судебной практике, Давид определил наличие «дезертирства во время войны», и судебный процесс закрутился на много месяцев.

Русская эмиграция, по словам Нины Берберовой, освещавшей процесс в газете «Русская мысль», как птица Феникс восставшей из пепла в 47-м году, затаив дыхание следила за схваткой двух монстров — демократического Запада и коммунистического Востока.

Противоестественный союз Советов с Америкой не мог продолжаться вечно. Уже весной 1947-го бывшие союзники с треском опрокинутых стульев разошлись по домам. Одни на розыски «красной опасности», другие атаковали «безродных сионистов и космополитов». Появляться у советских послов стало невыгодно и опасно. В противостоянии Востока с Западом сидеть на двух стульях не полагалось. Кушать американский шоколад и советскую икру могли лишь акробаты высшего пилотажа, как молодой Вадим Андреев, но не престарелый Бунин, крутивший собачьи ножки из табачных окурков. Близость к Советам могла стать и причиной насильственной высылки из Франции. Самых горластых – Рощина, Антонина Ладинского, Льва Любимова — посадили на советский пароход, и там они исчезли в солянке с расстегаями.

Перевес шел в пользу Запада. Во Франции коммунистов прогнали из правительства. Пересыльные лагеря распустили. Перемещенные войной лица, «дипи», получили документы на свободное жительство. Журнал коммунистов вылез сухим из воды, и довольный невозвращенец А.А. Кравченко улетел в Америку, где его прикончили неизвестные враги народа. В первых номерах свободной русской прессы появились соблазнительные объявления.

«Побредем вместе. Образованная блондинка 33 лет с 4-летним сыном, любящая семейный уют, ищет спутника жизни, имеющего возможность переселиться в Парагвай. Желательна фотография».

Иван Алексеевич, я вам советую не переселяться в Совдепию. Соблазн велик, но ехать не надо. Ваш родовой дом в Озерках местная чернь разобрала на дрова, яблоневый сад, где я десять дней ишачил под холодным дождем, помогая колхозу собирать сочную антоновку, срубили. Животноводы и хлеборобы не выполняли план заготовок, и людям нечего есть. Медпункт без медикаментов. В избе-читальне проходит литературная конференция по роману Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Буниным и не пахнет.

И.А. Бунин распаковал чемодан и мудро выбрал американские «гроши» Маруси Цетлиной вместо эфемерных тиражей Кости Симонова.

Великодушие капитала!..

Прощай, московская солянка с осетриной, индейка в желе и водка на льду, Ялта, Переделкино, Москва. Да здравствует богадельня на Лазурном берегу, сумасшедший скобарь Леня Зуров, так и не записавший свой роман, надоевшая морда декадента Жоржика Иванова, картавня Ирины Одоевцевой, непотопляемый Илья Сургучов, вечно безработная Нина Берберова и рисовальщик Петя Рожанковский в новых американских ботинках.

«Иван Алексеевич ходил пьяный с утра: особый хмель — не без отрыжки», — вспоминает зоркая соседка Одоевцева.

«У нас все враги друг другу», — записал с похмелья Бунин.

Старческая импотенция, кровавый геморрой, продранный диван, облезлая стена с памятными карточками.

«Из углов глядела бедность», — заметила хорошо знавшая писателя Зинаида Шаховская.

В 1950 году в захолустном Брянске, где юный Бунин когда-то ночевал на крыльце почтовой станции, я услышал его имя от художника Н.Н. Вощинского, лично рисовавшего его с натуры. Потом моя корявая жизнь независимым от меня образом шла по следам знаменитого писателя. Я собирал яблоки в гнилом ноябре в его имении, а в Париже умер И.А. Бунин.

В 56-м, как только я напал на фразу «много белых и голубых хат осиротело в тот летний вечер», меня понесло, как щепку, в океан бунинской речи, откуда уже никогда не выбирался. Такого калибра прозу литература тогда не выпускала. В первой книжке рассказов, изданных «Правдой», предисловие гласило, что писатель стал «врагом советской страны» и «в эмиграции его талант иссяк».

Лет через пять самые прозорливые советские писатели, Никулин, Паустовский, Катаев, внесли значительную поправку в биографию Бунина. Оказывается, в эмиграции он писал не только лучше Бабаевского и Полевого, а создал свои лучшие вещи.

В солнечном Провансе, где жил Бунин, оказался и я. На открытой террасе с видом на гору Святой Виктории я прочитал все знакомое, но изданное с «ять» и «Богом» с большой буквы, создававшее особый ракурс бунинской музыкальной прозы.

Черный, килограмм на сто пятьдесят дикий кабан прошел ночью и рылом вскопал наш опрятный двор. Вслед за злым другом Буниным я повторил бы, «что я виноват, что кругом себя свиней вижу».

3. Африканская гробница

Кончалась нешуточная дата, не просто круглая, а шарообразная, две тысячи лет от Рождества Христова. Люди с высоким воображением, как издавна повелось, ждали конца света. Кучка сумасшедших ученых улетела на планету Сириус. Хитроумный парижский кутюрье Пако Рабанн угрожал французам нашествием черного метеорита гигантских размеров. В свободной России распространение спиртных напитков достигло угрожающих размеров. В Африке росло озлобление голодных масс. Я со страху продал чердак и купил подвал.

Игра подпольного атавизма!..

Двадцать лет я бегал на седьмой этаж. Разработал мышцы, но сорвал сердце. Мне за шестьдесят, а я прыгаю по лестницам четырнадцать переходов, под горячую крышу с воркующими голубями.

Новое компьютерное тысячелетие под названием «Водолей» сменило пещерных «Рыб» и наступило буднично и незаметно, у блюда с индейкой и видом на величественную гору Святой Виктории.

Полгода, если не больше, я ухлопал на продажу чердака, но временное помещение для хранения багажа я нашел сразу.

Согласно договору с некой Ириной Ильиничной «Икс» — фамилию афро-польскую, нечто вроде «Новичконка», я сразу забыл, — подвал у Северного вокзала считался нежилым, и ночевать там мог лишь человек, привычный к подземным глубинам, вроде меня. Нелегальных африканцев я не считаю, они прячутся от полиции и в норах поглубже. Для творчества и размышлений предназначалась комната с видом на чахлый куст бузины. Под кустом день и ночь хлопотали чернокожие люди у самогонного аппарата, выделявшего апельсиновый сок, — наглядный пример эксплуатации национальных меньшинств капиталистами Парижа, критический жанр в чистом виде. Не хватало Маковского, чтобы увековечить сцену тяжкого труда подневольных рабов. Длинный коридор без окон годился для склада картин — я подрядил на работу капитана русского подводного флота, работавшего в Париже грузчиком, да еще с двумя малолетними детьми, так он старался и грузил с большим подъемом, спуская тяжелые вещи в узкий и глубокий отсек. Башню, похожую на голубятню, мы забили хозяйским барахлом из сорока стульев и сломанного холодильника.

Я арендовал подвал ранней весной 2001 года, обмыл с куртье Красновским и грузчиком «Адмиралом» хорошее дело, лето провел в Альпах, покоряя знакомые вершины, а осенью, предвкушая создание нового живописного ше-

девра, со свистом подкатил к подвалу. Если не считать Сатаны, гнавшего рисовать, зловещих знаков конца света не попадалось.

Каково было мое удивление, когда в комнате с видом на куст я обнаружил семейную пару, мирно хлебавшую борщ со сметаной. Моя проворная афро-смоленская хозяйка решила, что два летних месяца помещение не должно пустовать, когда по улицам слоняются бездомные земляки, и вопреки нашему договору с задатком пустила нелегальных «хохлов» из Полтавы, содрав с них дополнительную аренду. На мой удивленный вопрос был прямой и предельно наглый ответ: «Не нравится — уходите!» А мне нравилось, подлая Кали Юга, и я остался дружить с непрошеными постояльцами, насколько это возможно с людьми, далекими от моей преступной профессии.

Я начал красить в «голубятне» под стульями, готовыми рухнуть мне на голову. Ядовитые химикаты, вызывающие головокружение, я заменил водяными растворами: гуашь, темпера, акрилик, мелки, карандаши — и сократил размер работ до ученической тетрадки. В длинном коридоре поставил лампу и начал обмер и перечень произведений в специальной амбарной книжке. В сентябре и октябре держалась жара, и сидеть в прохладном подземелье было довольно приятно. Сначала квартиранты опасались моего присутствия и проносились мимо молча и бесшумно, но постепенно открыли, что я не кусаюсь и понимаю русский язык. Раз или два в день я поднимался на поверхность земли в индийское кафе без всякого шарма, а теперь «хохлы» предложили мне кипяток для заварки чая. Я принес круассаны и молоко для завязки добрососедских отношений, но пара моих соседей думали совсем иначе, чем я, старый мудак. Не допив стакан чаю, Галя Мороз вдруг изменилась в лице и завыла без всякого перехода.

— Ой, дядечка родненький, спасите наших деток от голода в Полтаве, ой, помогите нам с документами в Париже!

Меня поразила не сама просьба, такие я уже слышал от беженцев, а как женщина с высшим образованием способна на такой цыганский спектакль.

От голодающих детей в Полтаве я отвертелся, но настырная «хохлушка» повернула содержание театра на все сто восемьдесят градусов.

— Вот вы тут пристроились, а нам не даете жить по-человечески!

И тут я трусливо замолчал большую проблему человеческого равноправия, гуманизма и солидарности.

Зловещие признаки новой эры Кали Юга шествовали по земле. Влад Красновский, знавший все раньше всех, ошеломил меня смертью нашего общего собутыльника Володи Бугрина, парижского живописца, начисто лишенного мании величия и зависти. Шел я в африканскую гробницу в мрачном настроении. Мне наплевать было на такие мелочи, как арабо-американская война, погромы в Палестине, наводнение в Индонезии. Пока я, говнюк, слонялся по горам, сбивая вес, мой друг и земляк Бугрин скончался в муках в Петербурге. Так что по дороге вместо живописных идей я вспоминал нашу дружбу и мысленно обмывал ее.

Конечно, смерти нет, но кто теперь зайдет ко мне в потертом пиджачке с платочком в кармашке и пропоет: «Полюбила я пилота, а он взял и улетел, яйца свесил с самолета, разбомбить меня хотел».

Умер благородный человек. Персидский дворянин, потомственный петербуржец. Рисовал античные сцены и портреты кардиналов, морские бури и обнаженные тела.

А теперь вот писать некролог и пить горькую.

* * *

Владимир Александрович Бугрин родился в Ленинграде в 1938 году, в старинной дворянской семье с персидскими корнями, не бедствовавшей и в советское время.

Его отец, ученик влиятельного академика живописи Исаака Бродского, был профессором Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, по традиции называемого Академией художеств. Мать — преподаватель музыки. В родовом особняке Бугриных, поделенном советской властью на коммунальные комнаты, родители будущего живописца сохранили за собой большую гостиную с роялем, стоявшим там с царских времен. Сын рос и воспитывался в интеллигентной среде строгих православных традиций. Он перенес трагедию германской блокады 41—44-го годов, оставившей в его сознании неизгладимую трещину: пить на халяву и брать взаймы без отдачи. Успешно закончив начальную художественную школу, а за ней и саму Академию художеств, великолепный фасад которой он с пеленок видел из окна своей комнаты, он стал так называемым «свободным художником», насколько позволяло советское начальство. Его близкими товарищами стали далекие от социалистического реализма скульптор Олег Соханевич, в 1967 году сбежавший по морю в Турцию, и ныне живущие в Париже живописцы Марк Резван и Саша Леонов.

Выпускник АХ без особых приключений получал официальные заказы на стройках коммунизма, вовремя и аккуратно их выполняя, но неведомый мир зарубежной и запретной свободы неумолимо тянул любопытного, не раскрывшего свои способности мастера. В памятное время диссидентских выступлений ленинградского андеграунда (1975—1976) Бугрин выставлял самостоятельные, иконообразные абстракции в особой технической трактовке. Зачинщиков антисоветских выступлений власти считали «жидами» и предложили покинуть страну по «израильским вызовам». Бугрин без колебаний оформился «евреем» и, прихватив с собой никому не нужное творчество, бросился в запретный и заманчивый мир Запада. В Австрии он успешно продал свои работы, получил заказы на парадные портреты кардинала Кенига и принцессы Габсбургской и, выполнив их, в 77-м осел в Париже.

Постоянный участник пропагандных, бездоходных, диссидентских выставок в Европе и Америке, Бугрин раньше всех понял, что «святым искусством», каким бы замечательным оно ни было, жив не будешь, и брался за любую работу, снобистски отвергаемую эстетами сомнительных дарований. Он оформил дом-музей И.С. Тургенева в Буживале, рисовал афиши для фильмов Андрея Тарковского, украшал фасады школ и яслей, писал заказные портреты и копировал классиков. В начале 80-х он сошелся с англичанкой, хипповавшей на французской территории. У них родилось трое детей. Надо было кормить семью, содержать квартиру и дачу в Нормандии. Светская суета и рекламная шумиха не занимали профессионала живописных дел. Бугрин принадлежал к кругу молчаливых мастеров высокого, эклектического качества. Он достойно и твердо шел этим путем. Свое искусство он в шутку назвал «трансренессансом», но относился к нему серьезно, собираясь зарегистрировать изобретенную им технику обезжиренной краски. Не успел. Плодами изобретения воспользовались мелкие воришки, разумеется, без упоминания автора изобретения.

Все годы эмиграции художник жил с родным Питером в сердце. Он прижился на Западе, как никто из эмигрантов, но оставался вечным пленником города императорских улиц и белых ночей. В годы «перестройки» Бугрин один из первых полетел на родину, в особняк на набережной Невы, расселять многочисленных коммунальных жильцов в отдельные, благоустроенные квартиры. За пять лет операция почти удалась, не считая престарелого пролетария, проживающего в большой ванной комнате с 1925 года. Отселить его он не смог. Упорный, чугунолитейный большевик не желал покидать центр города ни за какие квартиры в мире.

В мае 2001 года больной художник приезжал в Париж на медицинскую консультацию. Заключение врачей было неутешительным, и всемогущий Господь прошел мимо. Не обмолвившись о смертельной болезни, он пришел ко

мне в гробницу с бутылкой бордо. Мы выпили, он пропел «Качается на море буй» и сел рисовать. По его просьбе я пригласил чернокожую африканку сказочной красоты. Такие формы выдает исключительно африканский континент, и то не везде. Он рисовал ее с большим воодушевлением, вспоминая учебные сеансы питерской Академии. Рисовал он черным углем уверенно и похоже, но к такого рода рисованию Запад давно утерял интерес, а нищие кардиналы, любившие его творчество, платили гроши.

На половодье злободневных «измов» Бугрин смотрел в упор и без всяких комплексов.

«Старик, посмотри внимательно на этот культ уродства и безобразия, — показал он на афишу модного британского художника с эротическим содержанием. — Наглость и нахрап этих недоучек ошеломляет воображение богатых мещан, но ведь мы не слепые, смотри — ни цвета, ни рисунка, ни композиции, ну чистейшая халтура, а нас заставляют восхищаться этим куском вонючего дерьма!»

Потом он поехал в Лондон, повидал троих детей-красавцев и вернулся в Петербург, в свой особняк на Английской набережной, чтобы умереть на руках любимой женщины.

Ушел он весело и достойно, в ясном сознании высокого духа.

Гул аплодисментов, и все встают!..

* * *

Зажатый непрошеными квартирантами, я терпеливо ждал всю осень, когда они съедут, но мошенники попрежнему крутились в моей гробнице, съезжать не собирались, а наоборот, искали слабинку в моей жизненной стратегии.

В один из рядовых приходов на работу я обнаружил, что на картинах лежит молодой человек в пиджаке и пускает табачные кольца под потолок. На рабочем столе воз-

вышался огромный компьютер с помойки. Наконец-то люди Кали Юга овладели моей парижской берлогой.

Перестрелять вас мало, сучьи потроха!

Где-то свирепствует сибирская язва. Священная война то там, то сям. В клубе Хвоста «Симпозион» пьют клошарское вино. Жена и дочка улетели в Америку. Украинские террористы выживают из подвала. По крышам города ползет Сатана.

Короче, от таких черных встреч я заболел грудной жабой.

* * *

Город Мадрид, как известно, — столица испанского королевства, но мне казалось, что столица — Толедо, там, где жили короли, где творил король живописи Эль Греко. Перед тем как двинуться в Испанию (ноябрь 2001), на террасе Святой Виктории я перечитал «испанскую библию», бессмертного «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса Сааведра — впервые по-французски, и просмотрел массу картинок с изображением идальго де ля Манча, от первых гравюр до фотографий Шаляпина в фильме Пабста. И читал не напрасно. Испанский быт бежит и вертится, как весь наш сумасшедший мир, граждане Испании рвутся в прогресс, часто опережая своих европейских соседей, но дух бесплатного авантюризма глубоко заложен в их душах.

Круглый и добрый Санчо Панса явился нам на помощь, едва мы ступили на испанскую землю. Он подхватил чемодан моей жены, и я сразу опознал в нем приятную добродетель старины. После горячей благодарности он приложил руку к сердцу и сказал: «Мадам, не стоит того», — и с улыбкой скрылся в толпе.

Покойная теща не раз повторяла имя Тиссена-Бормица, немецкого богача, собиравшего старых мастеров. Его вдова для размещения бесценной коллекции получила от королевы Софии просторный дворец в квартале густого

туризма. Непревзойденные шедевры первого калибра — Дюрер и Рейсдаль, Ватто и Гойя — я смотрел на полусогнутых. Меня по-настоящему схватила грудная жаба в отделе Гойи, где я ползал на четвереньках. Сердце окаменело, хлещет кровь изо всех дыр, дырявый желудок не варит.

Раньше я отключался на зеленом и сером. Они успокаивали, и не очень хотелось вводить и осваивать красное, да и раскрыть его секрет не удавалось до встречи с Гойей. Отечественное, советское «красное» — бесчисленные лозунги и водянистые флаги — скрывало сущность великолепного цвета. С первой встречи черного (бык!) и красного (тореадор!) открылась тайна этих сочетаний, но следом ползли Кали Юга, сердцебиение и старческая слабость. Так, от одного шедевра к другому, от Эль Греко в Толедо до Веласкеса и Пикассо в Мадриде, я не шел, а загибался.

Я вертляв и непоседлив от природы. Равнодушен к богатству, но боюсь безобразной нищеты.

По приезде в Париж, едва качаясь на ногах, я навестил свое подпольное логово. Теперь в «голубятне», забитой стульями, жили мужики, спавшие друг на друге. Они жгли огромную отопительную плиту, пожиравшую все электричество Франции, спросили, кто я такой, и смирно ушли куда-то «на работу», оставив мне в наследство стол, заваленный огрызками хлеба и чесночной колбасы. Я умудрялся рисовать на нем десяток гуашей, изображая красной краской идущих на меня кривоногих инопланетян.

Семья полтавских «хохлов» упорно держалась за вид с гнилым кустом. Вечером возвращалась пара сексуальных маньяков, Гаврилук и Могильный, в страну свободы, равенства и братства. Содомиты жгли мое электричество, жарили картошку на моем рабочем столе и спали на моей раскладушке.

Легко сказать «долой оккупантов», но как и чем их выкурить?

Насилие и хитрость — не мой стиль. Остается проверенное — отступать тихой сапой. Тактика фельдмаршала Кутузова в войне с императором Наполеоном.

Украинские захватчики выжили меня из африканского подвала и наказали большим штрафом. Хозяйка невидимо следила за мной и с любопытством ждала, чем кончится конфликт. Сначала она прислала мне «телегу» со счетом за постой и потраченную «хохлами» электроэнергию. Мои нелегальные постояльцы бескрайних полтавских просторов жгли ее день и ночь, зимой и летом, обогревая бока и кастрюли. Смоленская африканка заявила, что я главный квартиросъемщик и обязан оплатить все счета, что я, скрипя больным сердцем, и сделал.

Заплатил и проклял. Не знаю, жива ли, ведь после моих проклятий люди быстро уходят на тот свет.

В декабре 2001 года я лег в больницу, где опытный хирург, похожий на космонавта, прочистил мне грудь от засевшей там жабы, загнав вовнутрь пару мостов и расширив кровеносные шланги. Несмотря на видимое равнодушие к жизни, я кипел и пыхтел, как паровой котел, хотя единственным выходом из африканского тупика было тихое бегство. Я нашел еще одну гробницу, бывшее помещение африканской оппозиции. Ее оттуда выкурили за неуплату аренды.

Народ, сочинивший Библию, достоин бессмертия.

Главный извозчик Парижа Аркадий Бейлин, предки которого написали эту великую книгу, помогал мне перебраться в новый подвал. «Адмирал» Андрей Волк-Закревский-Коротков и маклак Красновский дружно таскали тяжести из одной гробницы в другую. Хохлы победоносно глазели из щели.

Когда сохнут сердце и яйца, то жизнь не мила. Тоска и скука, такие высокие думы, что начинаешь подозревать: куда и зачем я иду? Переползая опасный 2001 год, опустошенный, но честный, я начал составлять мемуары для подрастающей дочери.

* * *

По президентской амнистии 2000 года (первый срок Владимира Путина) на волю вышли известные брянские воры — Ванек Чубаркин, Юрик Лодкин и Владик Дворак.

Чубаркин взял на себя транспорт, Дворак — таможню, и Лодкин — базар.

Далекий от высокой политики и современности городской голова Федор Лодкин — здесь не описка, а однофамилец и, вероятно, родственник известного вора — воображал, что он хозяин большого города. Он публично сжег членский билет компартии, повесил на шею медный крест, но правил по старинке, поливая ромашки у бюста Ленину, в то время как в продаже не было ни хлеба, ни воды. Ему то и дело приходилось напоминать, что власть коммуняк кончилась и перешла к демократии. Устаревший городничий всячески тормозил развитие капитализма в Брянске скорее по невежеству, чем по убеждению.

Инвалиды афганской войны, бомжи и цыгане, рабочие и крестьяне, наконец, мыслящая интеллигенция, привыкшая подчиняться начальству, с нетерпением ждала, чья возьмет.

Влиятельные брянские воры на чрезвычайном совещании в парной бане порешили, что лучше всего легально изгнать коммуниста Лодкина, не нарушая Конституции и Уголовного кодекса.

Уверяю читателей моих воспоминаний, что никакой фантастической выдумки здесь нет, живые свидетели событий могут подтвердить правдивость моего рассказа.

Хлебопекарня, конфискованная у немцев в 45-м году, вдруг развалилась от старости и небрежного ремонта. Беглый армянин Ишхан Бабаян (лицо известное, историческое), выпекавший сдобные булки семейным подрядом, взвинтил такие высокие цены на продукт первой необходимости, что у брянчан на лоб полезли глаза.

«Бей армяшек!» — кричал подкупной подстрекатель.

«Бей черножопых!» – орали голодные афганцы.

«Долой армянский коньяк!» — шумели интеллигенты.

«Да здравствует брянский самогон!» — свистел приезжий власовец из Австралии.

Брянский базар охватило всеобщее смятение. Афганцы, вооруженные велосипедными цепями, разнесли ларьки кавказцев и атаковали пекарню Бабаяна. Народ перепился, шумел и сквернословил. Как на грех, исчезли гвозди, мыло и керосин. Обиженный армянин сбежал в пограничную Украину, где было спокойнее. Появились дикие волки и бродячие цыгане, что предвещало явный конец света. Казачий атаман Иван Абрамов спас человечество от вымирания. На тайной сходке брянских казаков его выбрали ходоком к вору в законе Юрику Лодкину.

* * *

Мой дядя Иван Васильевич Абрамов дважды состоял в компартии Советского Союза. Первый раз до второй Отечественной войны, получив офицерские нашивки военного училища, и второй раз — после победы со званием советского писателя. Почему дважды — длинно объясняться, но состоять ему в этом братском сообществе было не очень уютно. В войну юный лейтенант помалкивал, прикидывая, кто победит, немцы или русские, а после войны начал кричать громче всех, чтобы заметили гражданское усердие строителя коммунизма. Вокруг летели головы «немецких шпионов», «космополитов» и «кукурузников», а дядя выживал. Генсека Никиту Хрущева он считал государственным преступником, достойным публичной казни на Лобном месте. Он не мог простить ему сдачу Порт-Артура китайцам и Крыма – украинцам. Русская держава у него начиналась оттуда. Бдительные «органы» никогда не закрывали военное досье в архив. Любопытная сволочь могла перелистать «дело фашистских наймитов» – ведь Броня Каминский пока не Робин Гуд брянского пролета-

риата, а особо опасный бандит на службе Третьего рейха, а если ты хоть раз выпил с ним стакан самогона, значит, посвящен в преступления века.

В рязанской писательской организации, где дядя был председателем, нашелся молодой подонок и обозвал его «проходимцем». Из Рязани пришлось сматывать удочки в Казахстан, где люди еще уважали крепкое руководство и не лезли на рожон. Потом следовал Подольск и, наконец, родной Брянск, куда он вернулся доживать свой век. Здесь свили гнездо ревизионисты во главе с краеведом Д.С. Метелкиным, твердившие на всех собраниях об азиатском происхождении брянчан, в то время как дядя считал их потомками древних греков. Он сразу возглавил оппозицию, стоявшую за арийское происхождение брянских жителей.

В дни огромной провокации под названием «Перестройка» с дядей случилось новое превращение. Он отпустил пышные бакенбарды и заплел косу с красной лентой, как цыганский барон в известной оперетте, и вместо синего, партийного костюма напялил клетчатый хитон до колен, словно сшитый по мотивам геометриста Малевича.

Нет, не монголы работали в нашем краю, ведь давно сказано: «заблудились поганые в черном лесу» (Карачев), а это за сорок верст до Брянска, — а вот кочевые цыгане часто навещали Абрамов двор и девок щупали по сеновалам.

Приезжий турист из Австралии, потомок брянских феодалов по фамилии фон Граббе, открыл лавочку под названием «Русский дом», где за деньги продавал дворянские титулы. Воры в законе первыми получили дворянство, за ними потянулись «замы» и «замши». В результате такой продуктивной деятельности австралиец получил вне очереди квартиру с горячей водой и клин болотной земли для дачной застройки. На неформальном сборище в «Русском доме» брянские казаки, о существовании которых я никогда не слыхал, избрали Ивана Абрамова своим атаманом.

«Я теперь не просто фу-фу, а войсковой старшина Всевеликого брянского войска, представитель местного совета стариков», — писал мне в Париж дядя Ваня.

Что дядя и, следовательно, я — потомки инвалида кавказской войны, вахмистра Северского драгунского полка, я знал давно, но почему он объявил себя казаком, для меня остается загадкой. Ведь настоящие казаки не отличались верностью центральной, московской власти, и тому есть множество примеров: Стенька Разин, Кондратий Булавин, Емелька Пугачев, Ивашка Болотников, Нестор Махно, Петр Краснов. Скорее наоборот, они тянулись к отделению, к самостийной жизни, но чужая душа — потемки, очевидно, чин казачьего старшины больше соответствовал эстетике дня.

От сочинений военных романов, кормивших его всю жизнь, дядя Иван Васильевич занялся розысками своих корней, к сожалению, безымянных и очень темных, где ничего путного не светило. Мне он писал: «Это зов крови, а не бравада и славолюбие», — но ведь человеку за семьдесят, пора проснуться.

Как я и предполагал, он запутался в этом болоте. Еще никто оттуда не выбирался с богатой добычей. Без твердой научной основы под ногами — полемические брошюры Метелкина нельзя считать солидным фундаментом для решительных генеалогических выводов — дядя все-таки раскопал в архивах орденоносного предка. Им оказался Семен Губонин, служивший в каком-то казачьем полку.

Ать, ать, так вашу мать!..

Раньше он писал, что у него дырявая хата, больная корова и гнилая картошка в погребе, а теперь забренчали кресты и шпоры, сабли и штыки.

Раз в субботу кучка престарелых брянских казаков и чудом выживший за границей дворянин Граббе, как заправские политики, обсуждали наболевшие проблемы страны: с кем дружить, кого бить, кого уламывать?

Невиданные для Брянска голод и мор подстегнули их к решительным действиям. Провокатор Метелкин выдвинул кандидатуру Абрамова ходоком к вору Лодкину, и казачий сход единодушно поддержал.

«Иван Васильевич, — пел свое краевед, — вы наш авторитет, вы — атаман брянских стариков, спасайте народ от гибели»!

«Треба побалакать с ним, как Тарас Бульба балакал с хлопцами», — заключил австралийский барон.

Дядя Ваня покорно напялил хитон, расчесал бакенбарды, сел в ржавый «Запорожец» и покатил к парной бане.

Новоиспеченный барон Юрик Лодкин со товарищи приняли народного ходока в предбаннике своего дворца, обнесенного колючей проволокой.

«Юрик, — начал дядя с места в карьер, — народ пухнет с голоду, учителя пошли в землекопы, семейный подряд армянина сбежал, а совесть начальства заросла мохом».

«А тебе что, больше всех надо?» — бесстрастно отрезал расписанный голубыми русалками вор в законе.

«Юрик, — упорствовал старик, — мне пора помирать, но я тебя кормил манной кашей, когда ты ползал карапузом, дай людям краюху хлеба».

Не проронив ни слова, разопревший от самогона барон Лодкин скрылся в парной. Вооруженный охранник вытолкнул ходока на улицу.

В воскресенье ударил лет пятьсот молчавший вечевой колокол, и народ хлынул к ранней обедне. Отощавший поп с кадилом в руках пропел хвалу Господу и господам Лодкину и Чубаркину с богато одетыми женами, стоявшими в первом ряду (Дворак вернулся в католичество). Раздалось громогласное «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его», воры осенили себя широким крестным знамением и плюхнулись на колени. За ними присел весь народ. На паперти окаянных и оглашенных толкались безбожные интеллигенты и кричали: «Слава Лодкину, все голосуем за Лодкина!»

«Ядят нищие и насытятся, и восхвалят Господа!..»

В понедельник на базаре появился дешевый хлеб, гвозди и керосин. Старого коммуниста Федю Лодкина поймали на даче с блядьми и посадили под арест. Физическим устранением строптивых и отсталых граждан занимались платные киллеры. На пост городничего единогласно избрали Юрика Лодкина, отсидевшего три срока за грабежи и убийства. Он дал торжественную клятву братьям и сестрам Брянска снизить налоги и повысить пенсии, разогнать компартию и сбросить памятник Ленину в Десну, как в седую старину бросали поганых идолов. Несмотря на всероссийский политический кризис, в городе Брянске победила партия демократов.

Краевед Метелкин, к удивлению атамана Абрамова и его сторонников, за счет нового мэра издал собрание своих сочинений об азиатском происхождении брянчан. Улицам и переулкам города возвратили их исторические названия. Улица Розы Люксембург стала Безымянной, улица Клары Цеткин — Малособорной, улица Калинина — Могилевской.

Решительные перемены в центре России взволновали московское руководство. Президент В.В. Путин вылетел в революционный город. На собрании городского актива он сурово сказал: «Пить надо уметь, а не умеешь — не берись!»

Звучало правдиво и выразительно, народ молчал, виновато потупив взор.

«Плохой пример подаете, господа, — обратился он к ворам, сидевшим в первом ряду. — Если поменять одну улицу Розы Люксембург, то у нас краски не хватит по России, а ведь Роза не одна, за ней следуют Карл Либкнехт, Франц Меринг, Степан Халтурин и множество других. Надо не печь в горячку, а действовать постепенно, пусть жизнь меняет названия — вот наша политика».

Старика Федю Лодкина освободили из-под стражи на заслуженную пенсию. Городничий Юрик Лодкин полу-

чил выговор за самоуправство и превышение полномочий. Памятник Ленину вытащили из воды и поставили в тень городского кладбища. Председатель брянского дворянства фон Граббе прочитал лекцию на тему «Русская идея и современность», имея в виду высокую духовность Востока и бесовщину западной цивилизации. Об атамане Абрамове забыли, как только появились американские пироги. Настал инвалидный быт отшельника. После кончины любимой супруги Александры Федоровны, матери четырех умных и красивых дочерей, восьмидесятилетний казак женился на своей ученице, признавшей греческое происхождение брянчан, — да, тут я узнаю мужское могущество моего дяди, — но понежиться с молодой женой ему не пришлось.

В Париже я заканчивал картину, посвященную народам центральной Африки, избравшим демократический путь, — много красного цвета в хороводе черных, густых мазков — как мне сообщила родня, что 27 февраля 2002 года скончался Иван Абрамов.

Попарившись в бане и переодевшись в чистое белье, атаман лег и умер. Историю брянского народа с оптимистическим содержанием он не успел написать.

4. Царь-пушка

Скорей туда, в родную глушь.
Н.А. Некрасов

Надо быть маленьким человеком и уметь говорить с народом
Вл. Яковлев, XX век

В Россию меня не тянуло. И незачем, и некуда, и неохота.

Моя книжная Россия не совпадала с действительной. На гнилых развалинах Шестой Части Света появилась Российская Федерация, обрезанная география которой не соответствовала воображаемой мною стране. Новая государственная геральдика: трехцветный флаг голландского происхождения, двуглавый, общипанный «под Керенского» герб — «императорский орел превратился у нас в жалкую курицу», как заметил оформитель Похалецкий. Я бы добавил к флагу еще три полоски: зеленую (исламские республики), оранжевую (буддийские области) и черную для полярных чукчей, а вместо «общипанной курицы» ввел бы стилизованного медведя.

Потом, повсюду яд большевизма, повсюду коллективное «мы» вместо свободного и единоличного «я».

В первые годы советской «перестройки» я набрасывался на новости русских газет: «Московские новости», «Сегодня», «Независимая», «Коммерсант». Парижские киоски выбрасывали их на продажу. Затем газеты исчезли. Их заменил компьютер, а его у меня не было. Стало быть, лет пять жил слухами. Случайный турист, коллега на заработках, невозвращенец с высшим образованием. Из такой примитивной мозаики я создавал общую картину новой русской жизни, как водится, далекую от подлинной действительности.

В Париже я рисовал и сочинял некрологи покойным художникам. Я знал, что так называемой «свободной прессе» России совершенно неинтересны темные и никому не известные лица, как Зверев, Войтенко, Зеленин, Ситников, Файф. Наивные и недалекие люди полагают, что только орденоносные знаменитости достойны газетного некролога, забывая, что Ван Гог умер безвестным артистом, а кто с ним сейчас сравнится по славе и коммерческой ценности!

«Москва тебя не примет!» — заявил мне в лицо московский бродяга в 1957 году, однако в «перестройку» меня стали показывать в больших столичных музеях, а не по

подвалам диссидентов, как бывало. Мои мемуарные очерки, собранные в толстую книгу, опубликовало «Новое литературное обозрение», издательство высоких моральных правил и крепких коммерческих принципов. Хозяйка издательства, женщина величавой красоты и больших знаний, Ирина Дмитриевна Прохорова, пригласила меня в Россию.

* * *

В Париже мне часто снилась Царь-пушка. Я воображал ее по известной гравюре Мейерберга, но никогда не видел ее вблизи. Моей давней мечтой было повидать эту огромную пушку, стоявшую в московском Кремле. Проживая в Москве, я слышал, что Кремль открыт для посещений, но пойти туда боялся: а вдруг закроют ворота, и я окажусь в тюрьме. Конечно, это шизофренический бред, но чувство кремлевской мышеловки никогда меня не покидало, даже во Франции.

Итак, древний Кремль я изучал со всех сторон кабинетным способом: карты всех времен, литографии, фото, виды, население под всеми углами.

Кремль никогда не пустовал. Там постоянно квартировал военный гарнизон, жили монахи Чудова и Вознесенского монастырей, высокие чиновники Сената и больницы, генерал-губернатор, прислуга и служащие – или расстреляны, или высланы за границу, или сосланы на Соловки вместе с патриархом Тихоном.

«А у нас в Кремле», — бывало, говаривала супруга Льва Толстого, дочка кремлевского гофмедика Софья Андреевна Берс.

У большевиков были незаконные предшественники.

Монах кремлевского монастыря Юрий (Юшка) Отрепьев бежал в Польшу, там объявил себя сыном и наследником Ивана Грозного, собрал войско воинственных казаков и взял Москву. Его признали законным царем

Дмитрием и поселили в Кремле. Два года (1604—1606) он спал с полячкой Мариной Мнишек в постели русских царей, но просчитался. Москва всегда храпела после обеда, а «расстрига» Юшка бродил по Кремлю и беспокоил спящих бояр и стрельцов. «Ну, — решили бояре, — такие оригиналы нам не нужны». Самозванца поймали, отрезали голову, сожгли и пепел выбросили из пушки.

В русской революции 1917 года меня поражало не взятие Зимнего дворца, а захват большевиками московского Кремля. Потрясающее по своей наглости присвоение русских святынь: царские квартиры, охрана, больница, прислуга, наконец, «золотой фонд страны».

Появление кучки большевиков в Кремле — факт глубоко мистический, и объяснять его близостью иностранной интервенции — значит не знать азбуки русской души. Нелегальный захват колыбели русского царства, «Третьего Рима» русского православия, духовного центра нации имел огромное стратегическое значение. Пришли не грабители и самозванцы, а победители и хозяева.

Мой старинный коллега Михаил Гробман в 1987 году нарисовал картину с изображением главной кремлевской башни с курантами. Вместо пятиконечной, рубиновой звезды, принятой советской властью как главный знак государства, он возвел голубую, шестиконечную звезду, символ Израиля, и внизу написал размашисто: «Москва — евреям!»

Прямолинейное и смешное решение проблемы местожительства еврейского народа.

Русские большевики работали гораздо тоньше. Опасаясь открытых погромов, они ограничились красной звездой: как дань греческой мудрости — «пифагоровы штаны на все стороны равны» — и уступка многолюдному мусульманскому населению страны и сторонникам эзотерических учений.

Очень сильный символический ход!

Резиденция русских царей, помазанников Божиих, в руках беглых каторжников и международных бродяг.

Я восхищаюсь кремлевскими скватерами. Нижегородский аптекарь Яков Свердлов в царской постели. Это ли не вселенский абсурд! Простыни и подушки с императорскими вензелями, столовое серебро и севрский фарфор, хотя Яков Михалыч по старой тюремной привычке, возможно, питался из котелка.

Владимира Ильича Ленина я рисовал в три четверти и несчетное количество раз: рубашка «батендаун», галстук в мелкий горошек, жилетка и пиджак. Иконная вещь. Ленин с женой, сестрами и любовницей Инессой Арманд сначала поселился в Кавалерском корпусе на втором этаже, по соседству с семьей Льва Давыдыча Троцкого, а потом перебрался в здание Палаты судебных установлений, уступив квартиру с телефоном студенту Юрию Флексерману и его невесте, секретарше Совнаркома Н.А. Вигдорчик.

«Моих стихов лихая рота, / Я с ними весело иду», — пел глашатай пролетарской революции Демьян Бедный, получивший квартиру рядом с товарищем Сталиным. Тот брал у него книги «почитать» и засаливал страницы жирными пальцами.

Берзины, Петерсоны, Мальковы, Ульяновы-Ленины, Бухарины, Луначарские, Енукидзе, Свердловы, Драбкины, Воровские, Цюрупы, Фрунзе, Каменевы, Калинины, Цеткины, Арманды, Менжинские, Дзержинские, Джугашвили, Орджоникидзе, Кагановичи, Шверники, Куйбышевы, Радеки, Аллилуевы и прочие, прочие, прочие.

В казармах Арсенала полторы тысячи латышских стрелков. В кремлевских покоях засели не только пролетарские вожди и певцы революции, но и близкая родня далеких местечек и провинций, хлынувшая в новую столицу учиться управлять страной.

Харьковчанин Евгений Кацман раньше всех пристроил свою супругу в секретариат товарища Свердлова и получил заказ на живописный портрет Карла Маркса. Мос-

ковские футуристы Густав Клуцис, служивший в Кремле часовым, и Казимир Малевич пытались украсить твердыню «черными квадратами», но такой решительный декор отверг завхоз Бонч-Бруевич в пользу Карла Маркса в исполнении реалиста Е.А. Кацмана. Большевики тянулись к дидактическому фольклору. Эстетика пролетарского Кремля основательно прихрамывала.

Скажем прямо, не все современники революционных времен правильно осознали географическое преимущество кремлевских утопистов. Такое выгодное положение ценили люди дальнозоркие и практичные.

В 1919 году Кремль был не платным музеем, а московским проходным двором. Небывалый голод, тиф и смерть. В Кремле нет мыла, соли, гвоздей. Москву готовились сдать Белой Армии, подползавшей медленно, но верно с юга страны.

Люди комиссара кремлевских сокровищ А.В. Луначарского ворвались в «золотой фонд России», ободрали алмазный трон царей, набили карманы драгоценными сокровищами и заказали бронепоезд «Углекоп» для бегства за границу. Под видом странников можно было смыться в Польшу, Финляндию, Японию. Деньги всегда и всем нужны. У большевиков, на всякий пожарный случай, везде стояли свои вагоны, от Бреста до Харбина, от Архангельска до Батуми.

О чем думала коренная матушка Москва? Сотни тысяч бегущих, сидящих, торгующих? А московский военный сорокатысячный гарнизон? Ведь там автомобили, пушки, самолет «Илья Муромец»!

Солдаты голодали, народ давился за пайкой гнилого хлеба, мерз без топлива, и целые косяки русской интеллигенции стояли по стойке смирно в ожидании спасительных заграничных паспортов.

Кремлевские утописты боялись возмездия и спешно паковали чемоданы.

Жить, жить во что бы то ни стало!..

Одна цель — спасти шкуру!

Одичавшая буржуазия пробиралась на юг, к союзникам. Шантаж и доносы. Аресты и расстрелы.

В тот голодный год скончался от скоротечной чахотки Яков Михалыч Свердлов. Его квартиру в царском дворце занял тверской хлебороб Михаил Калинин с домочадцами. Белая Армия устала и рассыпалась. Большевики облегченно вздохнули. Жить в Кремле стало почетно.

Товарища И.В. Сталина я рисовал позднего вида, в погонах маршала Советского Союза, но пробовал и раннего, в кожаной фуражке со звездочкой, плечо к плечу с товарищем Лениным. Таким скромным политруком в сапогах он приехал в Кремль с миловидной женой Надей Аллилуевой и многочисленной кавказской родней. Вот где нарождались соглашатели, двурушники и ревизионисты.

В 24-м умер предводитель шайки скватеров Владимир Ильич Ленин, а в 27-м из Кремля выпихнули самовлюбленного авантюриста Льва Давыдыча Троцкого в далекий Казахстан, и в его квартиру вселился донбасский шахтер Климент Ефремович Ворошилов с женой Екатериной Давыдовной Гробман.

Товарищи, теснее ряды!..

На углу Коммунистической улицы и площади Каляева по-прежнему стояла древняя артиллерия — Царь-пушка.

* * *

Шумел могучий «аэробус», неумолимо приближаясь к величайшей и богатейшей стране мира, где мне не нашлось места для жизни. В стране, где постоянно воевали с природой, поворачивали реки и моря, запускали подводные и космические корабли, для тунеядцев и дебоширов места не было. Лучезарное будущее в бараке коммунизма не для подонков и врагов народа.

Позади безработица, капитализм, забастовки, а впереди — Гласность, Перестройка и Царь-пушка.

Москва нас встретила солнцем и водой. Везде текло и капало. С крыш, по дороге, за шиворот. Мой друг и редактор книги Вадим Борисыч Алексеев предоставил нам квартирку с видом на опустевший дом Г.Д. Костакиса, где в свое время я пил виски среди «малевичей» и «поповых».

Руки вверх, так вашу мать!..

Мои московские покровители желали показать Москве не только автора «мемуаров», но и его живописные достижения. Для такой операции сняли модный клуб на Брестской улице, где ресторан мирно уживался с эстрадой. Там они намеревались показать людям книжку, картины и накормить и ублажить народ музыкой. Предчувствуя, что готовится самоделка, да еще московского разлива, — ведь в ресторан приходят есть и пить, а не покупать картины! — я летел налегке, расположив выставку в самолетном ящике ручной клади: шестьдесят гуашей и четыре масла.

В Кремль, в Кремль, в Кремль!..

Едва продрав глаза, я разбудил жену Анну Ренатовну, и как угорелые мы помчались в заповедный Кремль, повидать чудеса наяву и, возможно, пощупать бронзовый бок молчаливой артиллерии.

Желающих поглазеть на кремлевские памятники запускали не в Спасские ворота с курантами, воспетыми М.Я. Гробманом, а через приземистую Кутафью башню, разделяя толпу на две неравные части: местную, погуще, и приезжую, иностранную, пожиже. Я говорил по-русски не хуже кассира и получил входные билеты в густой толпе земляков в десять раз дешевле иноземцев. На мосту через речку Неглинную мы миновали вечного часового в черных валенках, затем казарму с трофейными пушками у входа.

Итак, направо высокий забор и солдат с винтовкой.

«Стоп! Вход запрещен!»

Узнаю голос родины. Она поменяла фасад, но не людей. Улица Коммунистическая с Кавалерским и Потешным дворцами, общага большевиков закрыта на долголетний ремонт.

Налево площадь Ивана Каляева, бывшая Никольская, названа именем человека, убившего генерал-губернатора.

Когда-то студент Юрий Лермонтов забирался на колокольню Ивана Великого и сочинял стихи, созерцая панораму Москвы. Граф Лев Толстой навещал свою невесту в Кавалерском корпусе. В 1905 террорист Иван Каляев вошел в Никольские ворота и бросил бомбу в экипаж великого князя Сергея Александровича. На месте злодейского убийства вдова генерал-губернатора поставила памятник в его честь (работа знаменитого В.М. Васнецова), но его снесли и площадь назвали именем палача, а не жертвы.

Я бы назвал ее Великокняжеской.

Направо заколоченный квартал большевиков и «стекляшка» партийных съездов, налево — площадь известного террориста, а прямо виднелся хобот заветной Царь-пушки. Я к ней летел как на крыльях, над толпой зевак. Подбегаю и вижу чудовищных размеров, пятиметровое, бронзовое бревно на лафете топорной работы. Четыре ядра в обхват, и рядом крохотная гравировка сообщает, что бревно никогда не стреляло. Зачем же литейщик Ивана Грозного угробил попусту сорок тонн бронзы на бесполезное пугало?

Кыш, кыш, сатана!..

У пушки я скис. Под кустом сидел еще один бронзовый Ленин. В теплом пальто и без шапки. А это совсем глупый памятник, перековать его на орала. Терема, подворья, погреба, гробницы смотреть не хотелось.

Неуютная крепость. Ни кваса, ни пончиков!..

Не придирайтесь к туристу: усталость, испуг, недоверие.

Ведь это был не рядовой культпоход, а страстный порыв в Атлантиду, в неизвестное и бездну, а открылись коммунизм и пятилетка в четыре года.

Товарищ Сталин не раз указывал на новую маскировку классово враждебных элементов.

* * *

Модный клуб «На Брестской» располагался на площади Маяковского, на «Маяке», в глубоком подвале без окон: незаметный вход, раздевалка с вышибалой, налево едва освещенный ресторан, направо – эстрадный зал с внушительной буфетной стойкой, куда можно запихнуть человек сто гостей. Длинные передвижные лавки помещения подчеркивали игру хозяев «под колхозный клуб».

Нас три богатыря. Издатель И.Д. Прохорова – в центре, конечно, в роли Ильи Муромца, я вроде Добрыни Никитича и Вадим Борисыч — Алеша Попович. Для нас приготовлено не дикое поле, а стол и микрофон. По стенам окантованные гуаши и четыре картины маслом.

Почтовые извещения вышли из моды. О выставках сообщал Интернет. Значит, «вся Москва» знала, что у Вальки Воробьева «презентация» книги и картин 2 апреля 2005 года. Кто желал поглазеть на живого заграничного придурка, идут и тащат за собой друзей.

На лавках рассаживались на тридцать лет постаревшие друзья детства.

Отборный народ:

Павлик Катаев и Марина Аджубей (пожухли, но кипятятся!), Рудик Антонченко и Ритка Самсонова (неужели? — уже на костылях!), Юрий Желтов и Наталья Шмелькова (он – ничего, она качается с похмелья!), Димка Плавинский и Татьяна Колодзей (приоделись, вернулись из Америки!), Игорь Снегур с новой женой (ему семьдесят, а не меняется!), Толя Лепин и Таня Вальдштейн (если к человеку присмотреться, то можно узнать!), Валька и Вера Штерны (если убрать животы, то представительны!), «Аниканыч» — писатель В.И. Аниканов — и княгиня Урусова (если отрезать длинную бороду, то получится хороший знакомый!), Андрей Судаков и Кира Долинина (седой, но стройный!), Коля Вечтомов и Ирина Лейтис (узнаю издалека, ведь человеку за восемьде-

сят!), Татьяна Иваницкая с сыном (разнесло женщину, форменная барыня!), Леня Борисов и Зана Плавинская (похожи на бомжей и под хмельком!), Саша Лозовой и Лиля Евсеева (потрепанный костюм, но вид ученый!), Никита Хубов и Лариса Блинова (поседевшие весельчаки!), Вова Титов и Ольга Слободкина (себе на уме!), Толя Брусиловский и Женя Бачурин (уже не Александр II, а Александр III, вместо пышных усов — борода!), Олег Логинов и Наталья Кочеткова (а эти зачем пришли?), Андрей Зайцев и Таня Руцкая (коллекционеры, милости просим!), Игорь Вулох и Генка Айги (неразлучные старики!), Мишка Ромадин и Витка Духина (разнюхать на всякий случай, но мне приятно, не забыли!), Гриша Амелин и Юрий Тюрин (писатели на виду!), Ирина Алпатова и Татьяна Сазонова (гламурная арткритика!), Алексей Частнов с милой женой (видный архитектор!).

Все неудачники столицы налицо.

Не хватает еще полсотни, но они уже не встают и не выходят.

Народ стал старше, но узнать можно.

В то время как мы двигали лавками, из темного коридора шеренгой продефилировали лица в тренировочных штанах и капюшонах, очень распространенных в арабских кварталах Франции. Они организованно угнездились у буфетной стойки и воинственно скрестили руки.

«А это что за банда?» — шепотом спросил я Вадима Борисыча. «Это люди “партайгеноссе” Эдика Лимонова», — отвечает. «Пришли бить?» — «И бить, и пить. Они выпьют весь буфет, разобьют пару стаканов и смоются».

Смело, товарищи, в ногу!..

«Пионер — товарищ и вожак октябрят!» — как клялись в старину советские подростки.

Всех под суд! Лопату, тачку и на студеную Колыму!..

Колхозное собрание открыла Ирина Дмитриевна Прохорова короткой речью о книге и обо мне. Затем слово взял Вадим Борисыч Алексеев и подчеркнул мое долгое

пребывание в «дальнем зарубежье». На лавках послышался шумок: «надо же, тридцать лет не был на родине».

Поскольку книжку никто не читал и обсуждать было нечего, то гости колебались, не зная, что сказать. Тогда завклубом Леня Бажанов по-хозяйски прихватил микрофон и начал саботаж.

«Ну вот, парижский Ревком недоволен его сочинением, он считает его клеветническим и порнографическим!»

Я спросил его, глядя в глаза: «Леня, у тебя есть деньги, чтоб так выступать?» Леня ответил: «Нет, но скоро будут», — и скрылся в толпе.

Бажанова сразу заменил известный общественный деятель Толя Брусиловский. Он с места в карьер уклонился от темы вечера и обвинил госпожу Прохорову в том, что она его не печатает, хотя он — давно «признанный гений второго русского авангарда». Затем он выдернул из кармана книжку своих воспоминаний, авторского издания, и попросил присутствующих купить ее тут же с подписью автора. Вадим Борисыч ловко отключил микрофон у непрошеного конкурента и объявил обеденный перерыв. Пока старики и старухи кряхтели, чесались, приподнимаясь с лавок, шеренга юных халявщиков с криком «клевета» и «порнография» опрокинула на пол старика Вечтомова и кинулась к столу, украшенному напитками и вкусной едой. Ровно через десять минут стол походил на поле боя после нашествия монголов на Русь. Халявщики все выпили, разбили стаканы и скрылись, не покупая моей книжки.

Арткритики и журналисты затерли меня в угол и отпустили, когда загрохотал джазовый оркестр под руководством знаменитого Анатолия Герасимова, обкатавшего свой талант в Америке и Европе.

Я устал, охрип и осатанел. Марина Аджубей вытащила нас из подвала в просторный автомобиль и отвезла спать.

* * *

О том, что звезды артбизнеса формируются в Москве, я убедился давным-давно (читайте мою переписку с друзьями за 1988 год).

Я заучил стихи Федора Тютчева, что Россия ни с кем не сравнима, у нее особый аршин и стать.

Конечно, я слышал о фантастических закупках современного искусства. Отличались русские банки и «короли». Один банк купил сразу тысячу произведений «второго русского авангарда», чтоб переплюнуть купца Третьякова, другой купил две тысячи, чтоб переплюнуть всех, вместе взятых. Нефтяной «король» закупает Анатолия Зверева, стальной — Дмитрия Краснопевцева, навозный — Владимира Яковлева. Голова кружилась от эстетического прогресса русского капитала. Правда, бродили и минорные слухи, что Олег Кудряшов нуждается и болен, что Женька Гинзбург мерзнет на морозе с картинками, что Сергей Бордачев пьет политуру вместо водки, но так им и надо, несчастным придуркам!

Мое место у русских «королей»!..

Русским эмигрантам, рассыпанным по миру, отводилась крохотная фольклорная ниша: тройка, снег и самовар — три пескаря на зубок, чтоб не умереть с голоду.

Бородатое православие презиралось, икона — областной фольклор, вроде ковриков австралийских аборигенов, изящные искусства — издержки западного прогресса.

Моя гордыня пещерного красильщика не принимала такого гуманизма. Я пришел в искусство не за куском с барского стола, а за своим местом. Я принес не чемодан «матрешек», а живопись высокого класса. Необходим выход на вольный рынок.

На презентацию моей книги не пришли оскорбленные Лимонов, Мамлеев и Толстый, так сказать, люди нашего города.

Творческие лица, сумевшие заарканить большой капитал, — Иван Чуйков, Татьяна Назаренко, Виноградов и Дубосарский — огородились друг от друга ненавистью и забором, и собрать их вместе нельзя.

Все правильно, как на Западе!..

Два дня мы били баклуши, слоняясь по мокрым улицам Москвы.

Цель — продаться!..

Потом уехали в Санкт-Петербург, показать книгу там. В мое отсутствие в подвал на Брестской ввалился загадочный, «одетый с головы до ног от Черутти», по замечанию дежурившего Вадима Борисыча, навозный «король». Не открывая книжки, он ткнул пальцем в обложку, где фрагментарно изображался маленький «враг народа», спросил «сколько» и не торгуясь высыпал из кошелька, похожего на булыжник пролетариата, пять тысяч хрустящей, зеленой валюты.

Запроси Борисыч пятьдесят, он отсыпал бы и их, но кто мог рассчитывать заранее, если мы живем в иных мирах и считаем не по той таблице умножения.

Нет, инвалид был неправ: Бог есть, и Москва меня приняла.

Раздать получку московским нищим или возвести забор в Провансе? Одолели дикие кабаны, перерыли всю лужайку. Да лучше поставить забор, а клошары перебьются.

Народ стал умнее и лучше!..

Над Москвой взошло солнце, потекли ручьи, и зачирикали воробьи.

Объявление врет о боевой немощи кремлевской пушки. Царь-пушка стреляет! Ленин хорош и без шапки!

Не верь, не бойся, не проси!..

Веселая перспектива, и умирать не хочется!

5. Заячий остров

Я верю в могущество и величие России, но почему гибнет Петербург, город Петра Великого? Он гнил до меня, при мне и догнивает без меня. Гниют дворцы и самолеты, стены и поезда, ларьки и мосты, вода и люди. Правда, ранняя весна — плохой сезон для осмотра: природная грязища, половодье на Неве, легко поскользнуться на мостовой, — но великий город гибнет изнутри, и предотвратить беду невозможно.

Для города прямых перспектив — «нет никаких перспектив!», как выражается скульптор Олег Соханевич.

Моя жена Анна и я поселились у гражданки Татьяны Виноградовой, роскошной женщины с кошкой и собакой, профессию которой я не мог определить: не то музейный гид, не то певица, не то светская львица. Наверное, все трое вместе. В квартире текло из ржавых труб, во дворе сгнивающего от старости доходного дома постоянно толкались бродяги, соображая, где приткнуться на ночь. Дул, пробивая до костей, свирепый ветер. По серой Неве бежали черные льдины. Куда-то строем шли солдаты и матросы.

Как ни крути, а Петербург военный город. Такого количества мундиров в уличной толпе я нигде не видел — раз в тридцать лет армия меняет обмундирование, на сей раз ввели картузы, похожие на кастрюли, и укоротили сапоги на полколена, — и вдобавок революционное преобразование: чиновная женщина за каждым столом, неискоренимый русский столоначальник с рыжими кудрями на широких плечах.

Смерть косит моих друзей и врагов. В Питере она выкосила всех. Телефоны или молчат, или откликаются чужими голосами. Город «особой стати и русского аршина», как говорил поэт Федор Тютчев. В этом суровом городе на большой воде я в третий раз, и в моем сознании он навсегда связался с Петром Великим. Мой книжный, вообража-

емый мир совсем не совпадал с действительным, в нем размещались вещи, знаки, цвет без лада и склада: например, известный колдун Яков Брюс – первый комендант Петербурга — превратился в крысу, бледный, раскосый чукча за прилавком булочной стал моряком в черной шапке, а это не вонючие клошары, а веселые и красочные комедианты из фильмов Феллини, не бурая Нева, а голубой Дунай, навстречу шел не бледный солдатик, а царь Петр Первый в сапогах до жопы и с лопатой на плече.

Не мне описывать «отца отечества», государя Петра Алексеевича. Он изучен досконально, великий гражданин. Пешеходный москвич рвался к морю, победил врагов и построил новую русскую столицу на финском болоте.

Санкт-Питер-Бурх!..

На Заячьем острове, по-фински Ярисома, – пятнадцать гектаров болотистой земли — сотрудник Петра архитектор Доменико Трезини возвел крепость в виде шестигранника, или «шестибокую крепость, в воде вооруженную», как выражался поэт той героической эпохи Антиох Кантемир. На острове, запиравшем многоводную Неву, на стенах укрепили артиллерию и заложили церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Строительный бум сумасбродного царя захватил охотников быстрой наживы, иноземных предпринимателей и строителей, артистов и бандитов. Крепость на болотистом острове Ярисома, потеряв военное значение, определилась как тюрьма и царское кладбище. В шесть угловых бастионов, построенных в виде «кубиков» с толстыми и приземистыми стенами, посадили первых «врагов народа» во главе с сыном царя Алексеем Петровичем. После многочисленных пыток царевич Алексей скончался 26 июня 1718 года, а в 1725-м в соборной церкви захоронили и самого Петра Великого.

«В царствии Твоем помяни его грешную душу, Господи».

В 1772 году по европейским «дворам» и «салонам» пронесся слух, запущенный английским послом в Париже,

что в Италии, в городке Ливорно тихо проживает дочь императрицы Елизаветы Петровны и, следовательно, законная наследница русского трона, Лиза Тараканова-Владимирская.

Девятнадцати лет княжна Лиза выбралась в дальние страны учиться высокому «политесу» и разным языкам, жила в Праге, два года в Париже, год в Венеции, а теперь поселилась в Италии, окружив себя интриганами и проходимцами. Уязвленная европейской интригой, царствующая Екатерина Великая для ареста «бродяжки», как она выражалась, снарядила целый флот во главе с доверенными лицами, боевым графом Алексеем Орловым и адмиралом Самуэлем Грейгом. При Чесме они разбили турок, а в Ливорно скрутили самозванку Тараканову, хитростью заманив на флагманский корабль. Предварительно «надругавшись» над женщиной, создатель бессмертного орловского рысака граф Орлов-Чесменский доставил ее на допрос в Россию. Царица поместила самозванку в тюрьму. Несчастная Тараканова год просидела в каземате Петропавловки, родила от Орлова ребенка и утонула при разливе Невы в 1775 году. На столе самозванки нашли книги по географии и словари: французские, немецкие, английские и русские.

Живописец Флавицкий выразительно изобразил смерть княжны Таракановой в потоке, хлынувшем в подземелье Трубецкого бастиона.

Кладбище, казарма, тюрьма!..

Выбор сидевших в тюрьме «злодеев» так велик, что я ограничусь теми, кто мне приглянулся.

В 1791 году казенный «кнутобойца» Шешковский на смерть запорол там драматурга Якова Борисовича Княжнина, осмелившегося в своей драме «Вадим Новгородский» описать былую вольность на Руси.

Русская власть постоянно дралась с подвластными ей народами. В 1793 году восставших поляков разбил генерал А.В. Суворов, а плененного вождя, «литвина» Тадеу-

ша Костюшко, доставил в кандалах на Заячий остров. Год мятежник просидел в Трубецком бастионе, пока новый царь Павел не освободил его с правом на эмиграцию.

У крепостной стены расположен так называемый плац-кронверк Алексеевского равелина. О декабристах и пяти повешенных на плаце-кронверке хорошо известно. Среди них был отличный поэт Кондратий Рылеев. Не преступники, а невинно осужденные люди творчества лишний раз достойны упоминания.

Столичный поэт Орест Сомов писал: «Я за свободу, Бог за вас!» — звучный слог и ничего бандитского, однако месяц просидел в холодном и грязном каземате, пока не разобрались, что человек чист как стеклышко.

Александр Ардалионович Шишков, племянник знаменитого адмирала и друга А.С. Пушкина, «грустно тосковал средь роскоши полей, где вьется ручеек, где свищет соловей». Ловко сочинял стишки, нужные всем. Из тюрьмы его вытащил настойчивый дядя, за что ему вечная память и слава.

Разные сроки наказания, от пяти до пятнадцати лет каторги, получили сто двадцать два заговорщика, среди них три генерала и двенадцать полковников. Все писали стихи и прекрасно рисовали, а моряк Николай Бестужев был просто превосходный портретист.

Одного осужденного, полковника инженерных войск Гавриила Степановича Батенкова, просидевшего в тюрьме двадцать два года, я выделяю особенно. Этот герой Отечественной войны 1812 года в оккупированном Париже вошел в «философский кружок», где трепались о политике высокие господа вперемежку с низшими чинами, сочиняя ядовитые эпиграммы на монархов.

Ух, не дай Бог очутиться среди высоких чинов, не дай Бог сидеть рядом с князем Куракиным или графом Бенкендорфом, ведь погоришь первым, если стрясется беда. Такая ужасная судьба случилась с аккуратным полковником Батенковым. Особо доверенное лицо канцлера

М.М. Сперанского (либерал и против смертной казни) и всемогущего временщика генерала А.А. Аракчеева (консерватор и за смертную казнь), он попался в сети по делу декабристов и был осужден Верховным уголовным судом на пятнадцать лет одиночного заключения в крепости.

За что же так сурово наказали полковника?

Г.С. Батенков был посвящен во все секреты своих высоких покровителей, и самого персонального характера: девочки, пьянство, секретная переписка с иностранными агентами, — и был заранее обречен на заклание. Молодой царь Николай Павлович обратился к Сперанскому, заседавшему в суде, за характеристикой арестованного, и вместо того чтобы вытащить доверенного человека из капкана, Сперанский — «человек без души», по Тургеневу, «великий ипокрит», по Канкрину, — утопил его на пятнадцать лет изоляции, категорически возражая против смертной казни. Несчастный полковник, лишенный чинов и наград, вместо пятнадцати просидел двадцать два года и вышел едва живым и с помешанным рассудком в 1848 году, уже после смерти Сперанского.

О, бхагавад и параматва!..

В Петропавловке пришлось посидеть и Федору Михайловичу Достоевскому, а с ним и четырем поэтам: А.М. Баласогло, С.Ф. Дурову, А.И. Пальмину, А.Н. Плещееву (1849) — за чтение западных пропагандистов «свободы, равенства и братства».

Достойных молодых людей осудили на разные сроки заключения, а Достоевский получил четыре года каторги с последующей службой в армии.

В 1851 году на Заячий остров доставили преступника международного уровня, отставного прапорщика артиллерии Михаила Александровича Бакунина, арестованного в Германии с ружьем в руках.

«Нам надо соединиться со всеми ворами русской земли»! — таковы были убеждения арестанта. Он просидел в сыром бастионе пять лет, сумел накатать покаянную кси-

ву батюшке царю — древний воровской метод обмана наивного фраера — и был благосклонно сослан в Сибирь, откуда, используя верные связи, бежал в Америку в 1860 году.

Большой ловкач был этот Бакунин и очень несчастный человек. Говорят, что Дмитрий Рудин у И.С. Тургенева — «Строить я никогда ничего не умел!» — это он.

Русский аристократ с физиономией монгола взбаламутил всю Европу. Он возводил баррикады в Варшаве, Милане, Лионе, призывая народы к свержению любой власти, и продолжал жить на чемодане в ожидании постоянного ареста.

Достоевский, путешествуя по Европе, встретил Бакунина на собрании в Женеве (1868), но не как собрат по каторге, а как идейный противник. Вспоминать им было не о чем. В 1876-м смутьян Бакунин умер в Берне. При нем нашли записку: «Покойник оставил вам совсем новое пальто, носите на здоровье».

И злая чернь рукоплескала!..

Питер до сих пор живет по Чернышевскому: спит на гвоздях, закаляется ледяной водой, видит сны Веры Павловны и просыпается с вопросом «что делать?».

Ну и профессор Чернышевский посидел пару лет в крепости. Роман, написанный им в Трубецком бастионе, доставили на читку царю. Он прочитал название и заметил: «Как что делать — в Сибирь, лес валить!»

От преступления к труду!..

За что боролся профессор, на то и напоролся.

В казематах Заячьего острова отсидели свое поэты: Михаил Михайлов (1861), Петр Лавров (1866), Иван Гольцмиллер (1866), Григорий Мачтет (1876), Сергей Синегуб (1878), Вера Фигнер (1883), Петр Якубович (1886).

Александр Ильич Ульянов — не поэт, а террорист и старший брат главного вождя «пролетарской революции» В.И. Ленина, следовательно, достоин упоминания.

Откуда, из каких источников студент Ульянов получал деньги на взрывчатку — не знаю, но можно безошибочно

приплести «еврейский заговор» или «польскую руку», да, кстати, братья Пилсудские, дворяне со средствами и связями, и поляк Лукашевич из Вильно принимали участие в подготовке цареубийства. Ульянов не был вожаком банды — подставной вожак Петр Шевырев скрылся в Ялте от ареста, — и не Ульянов метал бомбу в царя, а ребята покрепче, Осипов и Андрушин, сумевшие затеряться в густой толпе.

Александр Ульянов, как начинающий и способный химик, фабриковал «адскую машину» с сестрой Анной у себя на питерской квартирке. Из трех бросавших в 1887 году бомбы был задержан один студент Генералов, выдавший полиции всех, кого знал. На допросах Ульянов храбро взял на себя затею с убийством царя и поплатился виселицей на Заячьем острове.

Как говорится, мене, текель, умарси!..

* * *

Что же мне делать? — не думать, водку пить!..

Пейте без церемоний. Соленые огурчики. Запеканка из грибков. Самогон брянской выгонки.

Когда-то, уже за границей, я всерьез думал сменить фамилию. Устранить славянизм и укоротить, нечто вроде «вораби», или «вароби», или «баррада» — имена с заметным библейским глянцем, но через год-два напрасных стараний притереться, поймать покупателя на фальшак игру я прекратил. Так можно обвести вокруг пальца художественную критику, но не осторожного и внимательного коллекционера. Настоящий, дорогой собиратель изящных искусств всегда требует автора на допрос и осмотр. Можно легко поменять название страны или города, но не преступную сущность человека. Я не святой, у меня есть крупные недостатки и преступная профессия — рисовать. Я давно убедился, что душа моя сидит не в комендатуре, а в каземате — родовая традиция, все отсидели, а я

десять лет просидел в сыром московском подвале за рисованием и знаю, что такое ревматизм и крысы.

В конце правления Романовых Заячий остров забили под завязку, негде людей размещать. Там отсиживались будущие скватеры Кремля: агитатор «перманентной революции» Лев Троцкий со товарищи, нижегородский босяк Максим Горький, сумевший написать в сыром и темном каземате две пьесы — «Дети солнца» и «Дачники». Там же посидела и подруга писателя Бунина Маруся Тумаркина.

О, мата шватер дхара!..

В тюрьме держали до 1500 заключенных. В Трубецком бастионе располагалось шестьдесят девять камер с забеленными окнами и два карцера.

«Отвратительный памятник самодержавию!»

Последние арестанты царских времен, мятежные генералы и министры, были перебиты революционными матросами, а пару особо ворчливых политиков в назидание другим они подняли на штыки.

Народная расправа, чего там!..

Коммунисты, захватившие власть, оказались гораздо круче царских сатрапов. За время правления одного Григория Ефимовича Зиновьева (1918—1925) было уничтожено «врагов народа» в сто раз больше, чем за двести лет царствования Романовых.

И над тюрьмой, как гвоздь из доски, возвышается позолоченный шпиль в 120 метров высотой, увенчанный фигурой летящего ангела. Рядом с собором — дом коменданта. У его подъезда уроженец Питера скульптор Михаил Шемякин посадил в бронзовое кресло лысого Петра Великого — не царь, а лобастый уголовник, приговоренный к смерти американским судом. Модная композиция, приземленная и доступная для рукопожатия статуя. Матросы дружно козыряют бритоголовому царю и зажимают почерневшую бронзовую руку.

Царь Петр — друг солдат, а потом все остальное.

Я был рожден во тьме невежества, и скульптор открыл мне глаза и рассеял тьму лучом таланта.

Царственная семья Романовых в конце концов превратилась в огромную, дорогостоящую хевру тунеядцев и развратников. Очень редко среди них попадались разумные и ученые головы, способные управлять, а все остальные висели на шее России с добавкой временщиков и подхалимов с большим позором для русского государства.

Семеро членов царской семьи – Николай Александрович (император), Александра Федоровна (императрица) и их дети — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, а также доктор Боткин, лакей Трупп, фрейлина Демидова, повар Харитонов – зверски убитые уральскими большевиками в подвале екатеринбургского дома заключения 17 июля 1918 года, торжественно захоронены на Заячьем острове.

1998 год стал годом «национального примирения». Останки незаконно убиенных доставили в Петербург и с государственными почестями, в присутствии президента России захоронили в особом приделе собора, им посвященном. Конечно, немедленно пополз слух, что вместо царских костей привезли мешок мусора неизвестного происхождения, но какое это имеет значение, если враги хотят мириться таким образом.

Приезжим туристам сообщают, что остров — «место заточения лучших сынов русского народа», и вот русские монархи выбрали местом своего успокоения тюрьму народов. Ледяной, совершенно кладбищенский интерьер собора с глыбами императорской родни – злые языки болтают, что гробы давно выгребли в поисках драгоценностей.

Коммерческий прогресс масс!..

Шагают солдаты и матросы, а «в солдате сияет гражданин», как выражался старый зэк Достоевский. С угловых башен хороший сектор обстрела, стихия ветра и вода со всех сторон. По коричневой Неве плывет огромная льдина. На ней сидит бродячий кот с намерением причалить к

острову. За стеной Трубецкого бастиона с видом на город пристроился ресторан с макетами парусных кораблей, что выгодно отличает Заячий остров от московского Кремля, где съестным не пахнет.

* * *

Питерские саботажники, последователи профессора Чернышевского, работали по старинке — «главный заболел»!

Ответственное лицо «Нового литературного обозрения» по фамилии Охотин больным сбежал в Ялту, и торжественная «презентация» моей книги сорвалась.

Начиналась скудная северная весна, на мокрых деревьях чирикали воробьи, на грязном снегу прыгали кошки и клошары.

Говорят, что город перенаселен, расползается во все стороны, но где люди? На знаменитом Греческом проспекте совсем безлюдно — ни транспортных средств, ни детей. Я спрашиваю себя: почему лишь одна баба в тулупе скребет тротуар лопатой?

В модный клуб «Платформа» мы шли втроем: наша хозяйка Татьяна Виноградова, моя жена и я. У входа в клуб нас поджидала пара пожилых питерских учителей, давних друзей жены. В помещении переставляли лавки, возводили мощные динамики, заправляли буфет, но явно не для нас. Очень бойкий малый сказал нам, что в клуб ждут поп-группу из Финляндии, о презентации книги ничего неизвестно, но он сделает все возможное, чтобы она состоялась перед концертом. Такая милость мне показалась оскорбительной, но скандалить я не стал, а ждал, что у него получится. Вертухай усадил меня за крохотный столик, я сел и присмотрелся к людям. Появились чернобородый мужчина цыганского типа и тощая девица, севшая на пол вместо лавки. Если не считать рабочих, переставляющих ящики с усилителями, то собралось с десяток по-

сетителей. В бой, с особым визгом, вступила сидевшая на полу девица

— Вижу, вы толерантный человек, так в чем же дело?

«Трудно обучить массы хорошим манерам», вспомнился мне Троцкий. Неужели и эта пигалица выступает по указанию «парижского райкома» с расчетом утопить презентацию, подумал я.

Видно было, что книжки она не читала, но получила наказ сорвать выступление автора. Поскольку мне было скучно спорить о «толерантности», то я изложил содержание книжки в сжатом виде и попросил сидящих купить ее с подписью автора. Чернобородый купил и представился — Сергей Ковальский, президент Пушкинского центра искусств.

Это имя мне ничего не говорило, но об артистическом сквате на Пушкинской, 10, я слышал. Там скончался бард Флор Кесслер, собирая деньги на выпивку, там работает мой приятель Леонид Борисов, согнувшись от житейских забот.

Зря мы кровь проливали!..

Из дикого сквата приказом городничего возник центр искусств, где танцевали, крутили фильмы, выставлялись художники и фотографы. Господин Ковальский занимал огромное помещение на верхнем этаже, меблированное современной компьютерной техникой, газовой плитой и холодильником, с видом на городские крыши. Что он рисовал, я не приметил, но хозяйственные делишки «центра», похожего на муравейник, он обрисовал увлеченно, с огоньком. К сожалению, чайник так и не вскипел, и говорить было не о чем. Я ведь не последний мудак, чтобы рапортовать о парижских достижениях бородатому жлобу.

Сибирский гений Андрей Пролетцкий живет в доме Леонтия Бенуа, известного архитектора XIX века. Огромная квартира с высоченными потолками и так избитыми стенами, как будто в них палили из пушек и пулеметов. С тех пор как Пролетцкий покинул неприветливый Париж, прошло пять лет. Он постарел и опустился, как опус-

каются люди в таежной глуши, где нет зеркал и негде блеснуть. Новых и потрясающих произведений нет. Есть увеличенные фотографии его геометрических эскизов, но на них нет покупателей. Со всех углов смотрит нищета. Я написал о нем очерк. Андрей потрогал книжку, как баран ворота, и принялся подсчитывать свои беды: душит подоходный налог, гниет канализация, прыгают крысы, горячей воды и образованного общества нет («Пушкинская, 10, — сброд местного кича») и некий надлом психики.

Для горожанина сорока пяти лет, как он, жизнь по сезонам ничего не значит. Днем он спит, работает по ночам, зимы не видит, не замечает дождя и солнца.

— Неужели весна? — спросил он, провожая нас.

На Невском проспекте множество раскосых лиц северной расы. Моя книжка лежит нераспечатанной. Не представлен и не нужен. Людям не до книжек. В Питер крадется мелкий капитализм семейного подряда. Украинский борщ со сметаной, галушки и вареники, бисквиты «Роза». Угощает пышная хозяйка с веселым лицом. Такая ухитрится всех ублажить и отложить на черный день.

Брошюра «Шахматы для детей и родителей» — отрадное воспоминание о гнилом городе. Ищу знаки прельщения, позывы сирен, крик птицы, монету на тротуаре, живописное пятно — и не нахожу. Значит, назад, в глушь, где я постоянный сторож. Там жилье с загадочным валуном внутри, гора Святой Виктории со следами допотопных динозавров, сосновые леса и виноградные долины, горячие древние дороги, где прошли легионы римских полководцев, дерзкие порывы ветра с запахом африканской пустыни, дикие кабаны и надменные фазаны у быстрого ручья. Там мой удел рисовать и любоваться, хранить и жить.

Прощай, Заячий остров с длинным позолоченным шпилем!

Ликует гора Святой Виктории!

20 февраля 2007 г.

Оглавление

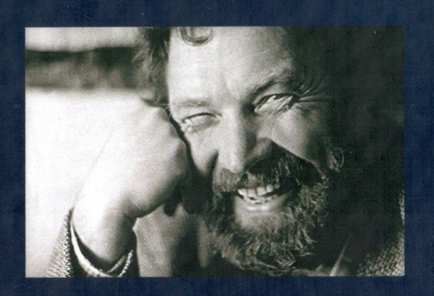
Валентин Воробьев
Графоман

Дизайнер *В. Новик*
Редактор *В. Алексеев*
Корректоры *Е. Мохова, Л. Белова*
Верстка *С. Петров*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (495) 976-47-88
факс: (495) 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат $84x108^{1}/_{32}$
Бумага офсетная № 1
Печ. л.8. Тираж 1000. Заказ № 1879
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
"Ульяновский Дом печати"»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.



Валентин Воробьев

Через три года после выхода скандальной автобиографии «Враг народа» (НЛО, 2005) легендарный парижский художник Валентин Воробьев вновь взялся за перо. Полвека жизни в неофициальном искусстве, интриги и тайны московской интеллигенции, переписка с брянской родней и героями «второго авангарда», яркие и точные портреты современников. Письмо экспрессиониста Воробьева близко к его ранней художественной технике: небольшие мазки он наносит так, что картина кажется витражом из бесчисленных осколков цветного стекла. Так не писали со времен орнаменталистов, такой мемуаристики не было после Катаева и Берберовой.

...Взгляд Воробьева напоминает острый скальпель хирурга, врезающийся одним движением в суть личности, времени, художественной среды. Этот надрез делается стремительно и проникает довольно глубоко. Художник видит самое важное для него, но ни на чем долго не задерживается – впереди все новые и новые темы, события и личности, и он торопится к ним, чтобы погрузиться на мгновение, резко и точно охарактеризовать человека или явление, и отправиться дальше. Воробьев повествует смело и откровенно, без дипломатии. Он не признает авторитетов, готов оспаривать широко признаваемые мнения, критиковать и оправдывать, смеяться над собой и другими. Здесь нет озлобленности или желания отомстить, но ощущается веселая беспощадность. Кого-нибудь из описанных в книге современников она вполне может и задеть.

Елена Якимович

Новое
Литературное
Обозрение

ISBN 978-5-86793-592-4

